
ДЕЙЗИ
ХЬЮСТОН
18+
Сиэтл
НЕ УСНЕТ
ЛОТ 206
EVIDENCE
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
SEATTLE
POLICE
18+

Дейзи Хьюстон

Сиэтл не уснет. Лот 206

«Автор»
2026

Хьюстон Д.

Сиэтл не уснет. Лот 206 / Д. Хьюстон — «Автор», 2026

Дом на озере прозвали домом с пятью глазами: камеры на столбах, под карнизом, над дверью. Хозяин говорил, что они видят даже мышей. В семь минут десятого все пять погасли разом.Оливия пришла туда писать портрет девочки, которая перестала говорить три года назад. Хозяин заплатил вперёд и просил об одном: не переворачивать холст. Уходя, она слышала за дверью кабинета тишину, плотную, как войлок, а у причала — тяжёлый плеск. Утром в подкладке её пальто тикали чужие золотые часы.Оливия выбирает молчание. Оно обойдётся дороже всего, что она заработала. В городе, где правду прячут под холстом, художница с долгом и детектив Уилл Уэнс, оставшийся без значка, оказываются единственными, кто видел слишком много.За одну подпись под фальшивкой Оливии предлагают закрыть её долг. Она приходит в галерею «Эверхарт» именно затем, чтобы не подписать. К полуночи в субботу там начнутся торги, а в каталоге — лот 206. Портрет почти написан. Лот 206 ещё не продан.

© Хьюстон Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Последний сеанс 5
Глава 2. Дом с пятью глазами 12
Глава 3. Рысь 20
Глава 4. Что бы ни случилось 28
Г 37
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Дейзи Хьюстон
Сиэтл не уснет. Лот 206

Глава 1. Последний сеанс

Вторник, 29 сентября. 16:40.

Кенмор, штат Вашингтон. Дом Артура Вандербильта.

Последние пятьсот метров от остановки на Ботелл-Уэй Оливия Салантус всегда шла пешком. Ремень тяжёлого этюдника привычно резал плечо сквозь сырую шерсть бежевого пальто. Под пальто была чёрная водолазка, заправленная в джинсы. На ногах были кожаные челси, потемневшие от дождя. А в голове лениво крутился один и тот же счёт: аренда мастерской, минимальный платёж по кредитке, штраф за овердрафт. Год назад она взяла в банке двадцать восемь тысяч на мастерскую в Джорджтауне: помещение, свет, мольберты, подрамники. Заказы не пошли так быстро, как она планировала. Банк подал иск, аренда капала, кредитка росла. Утром банк прислал уведомление — на счёт, вопреки ожиданиям, уже упали шесть тысяч двести долларов. Цифры ходили по кругу, как слепая лошадь на приводе, и ни разу не сошлись в её пользу.

С тех пор как в августе пришлось продать серебристую «Хонду Сивик», у неё больше не было иллюзий, что можно ездить на заказы с комфортом. Сегодняшняя дорога из Белвью, где она с утра показывала потенциальному клиенту эскизы, вышла скверной: автобус, пересадка в Ботелле, где она упустила нужный рейс, и ещё десять минут ожидания под ледяной сиэтловской изморосью.

Осень в Кенморе пахла сыростью и палой листвой. Морось висела в воздухе прозрачной взвесью, когда Оливия наконец свернула к озеру.

Дом Артура Вандербильта встретил её привычным молчанием: серый камень, много стекла и лужайка, подстриженная так ровно, будто её чертили по линейке. Со стороны воды стекла было ещё больше: там к дому пристраивалась терраса и вторая гостиная, куда Оливию ни разу не звали, а от террасы к чёрной воде спускались три каменные ступени, всегда скользкие и мокрые. Охраны у ворот не было. Зато на столбах, под карнизом и над входной дверью сидели камеры, провожая художницу матовыми чёрными объективами с тихим жужжанием.

Хозяин сказал ей в первый же день, что его камеры видят даже мышей.

— А охрана? — спросила тогда Оливия.

— Охрана болтает, — ответил он, даже не повернув головы. — Камера не болтает.

Сегодня он открыл ей сам, в рубашке без пиджака, с очками, сдвинутыми на лоб, и с лицом человека, который слишком долго оценивал чужие вещи. Оглядел её так, как антиквар оглядывает сомнительную вещь на аукционной витрине: мокрый хвост русых волос, шерстяное бежевое пальто с прилипшим к рукаву мокрым листом, зеленоватые глаза и краску под ногтями, которую она давно перестала прятать. От мокрой шерсти её одежды пахло чёрным деревом с гвоздикой: духи за тридцать долларов, которые на её коже упрямо звучали на триста.

Ростом Вандербильт был точно с неё — пять футов восемь дюймов, и Оливия, всю жизнь смотревшая на заказчиков снизу вверх, это равенство в нём ценила.

— Вы опоздали на десять минут, — бросил Артур вместо приветствия. — Я говорил: в половине пятого. У меня всё по времени.

— Здравствуйте, Артур. Автобус, — Оливия даже не подумала оправдываться. Она аккуратно переложила ремень этюдника на другое плечо. — Расписание в Сиэтле составляют оптимисты, которые никогда не стояли в пробках.

— У вас занятная манера опаздывать с достоинством. — Он не улыбнулся, но отступил вглубь холла. — Проходите. Она ждёт с обеда.

В холле тикали часы. Часов было десять, и все со своим упрямым характером, а по вторникам, накануне обязательной заводки, они всерьёз пытались разойтись во мнениях, заполняя дом неровным, лихорадочным перестуком. Под ними, на мраморной консоли, примостилась небольшая бронза: бегун на низком постаменте, с грубо отбитым локтем. Из глубины дома, со стороны чёрного хода, доносился глухой, тяжёлый звон латунных вёдер — там как раз заканчивала работу Марта Грэйс. Она убирала здесь четыре раза в неделю и всегда уходила ровно в пять, оставляя особняк на хозяина и девочку. К приходу Оливии Марта уже собирала щётки в подсобке и в сторону гостьи даже не глядела.

Вандербильт торговал антиквариатом и любил старые вещи гораздо больше, чем новые знакомства. Картин в доме не было. Ни одной. Для вдовца художницы Элизабет Вандербильт, чьи полотна когда-то висели в залах нью-йоркского MoMA, это выглядело странно. Но Оливия не спрашивала. Заказчики сами решают, какие шрамы им показывать.

На втором этаже была комната, которую в доме по привычке называли детской, хотя Ребекке в четверг исполнялось двенадцать. Мольберт стоял у окна. Сама Ребекка сидела на подоконнике с поджатыми ногами, спиной к стеклу, за которым расстилалось свинцовое озеро. Угасающий свет падал сзади, выхватывая её силуэт и вспыхивая в светлых волосах тонким золотым ореолом — так красиво, как Оливия никогда не смогла бы составить на палитре, даже если бы захотела.

Говорить девочка перестала три года назад, в тот самый месяц, когда умерла её мать. Врачи называли это сложным медицинским термином, который Оливия так и не запомнила. Артур называл короче: «пока не готова». Блокнот и ручка всегда лежали у Ребекки в кармане трикотажного кардигана: писать она могла, но делала это редко и только в случае крайней необходимости. Позировать она умела молча: двадцать минут абсолютной, пугающей неподвижности, пока её взгляд был прикован к раскрытому тому на коленях. Это делало их с Оливией идеальной парой, в которой слова были не нужны. В девять вечера для Бекки наступало неизменное время отбоя. До этого у них оставалось почти четыре с половиной часа — чистое рабочее время Оливии, и она торопилась поймать угасающий отсвет в волосах девочки. Пальцы Бекки бережно прижимали к обложке старый батистовый платок, словно он служил ей закладкой.

Он остался у неё с третьего сеанса, когда у девочки пошла носом кровь. Оливия перерыла сумку и отдала свой — старый, из тонкого накрахмаленного хлопка, но чистый. Ребекка забрала его молча и больше не вернула. С тех пор платок был с ней всегда.

— Здравствуй, — сказала Оливия, настраивая палитру. — Сегодня руки. И немного поймаем свет. Если ты не пошевелишься, я обещаю не просить тебя улыбаться.

Ребекка посмотрела на неё очень серьёзно и кивнула. На подоконнике она сидела так неподвижно, что Оливии приходилось ловить взглядом едва заметное движение ткани на её груди, чтобы убедиться — девочка не уснула.

Портрет получался лучше, чем она надеялась. Умела она всегда больше, чем позволяла себе рассчитывать. В начале сентября на холсте была просто девочка, которую Оливия видела. К концу месяца на нём проступила девочка, которую Оливия поняла. Оставались ладони и тёплый отсвет в волосах. Два визита, не больше.

Она взяла холст за верхний край, чтобы развернуть его к остаткам дневного света, и на мгновение остановилась. Подрамник сидел иначе. Гораздо туже, чем в прошлый раз. Холст лежал на нём как натянутая барабанная кожа, а по нижнему краю, с оборота, ложился чуть неровно, словно под него что-то аккуратно подложили. Оливия осторожно провела пальцем по шву, но ничего не нашла.

— Не переворачивайте, — раздался от двери резкий голос Артура.

Он замер на пороге, сжимая телефон. Оливия даже не слышала, как он подошёл — его шаги утонули в коврах.

— Я подтянул подрамник на прошлой неделе, — сказал он, проходя в комнату. — Холст провисал. Клей ещё не схватился, не трогайте оборот.

Ребекка в этот момент смотрела не на отца. Она смотрела на холст, и пальцы у неё на блокноте сжались так, что побелели костяшки.

— С каких пор антиквары разбираются в подрамниках?

— Я двадцать лет продаю рамы. Подрамник от холста отличаю. — Он убрал телефон в карман, тут же достал снова, бегло посмотрел на тёмный экран и снова спрятал. Пальцы у него едва заметно подрагивали. — Деньги дошли?

— Утром. Деньги дошли, спасибо. Но не надо было переводить всё... Мы ведь договаривались, что вторую половину вы заплатите по завершении. Работа ещё не закончена.

— Я не люблю долгов, — заключил он. — Считайте, что вторая половина — за срочность. — В его голосе прорезалась та самая холодная сухость, которую Оливия слышала только раз, когда он рассказывал о подделках. — Мне нужно, чтобы вы думали о портрете, а не о счёте.

— Обычно я беру половину вперёд и ругаюсь с заказчиками, пока не получу остальное.

— Знаю. Поэтому и перевёл всё. Терпеть не могу торговаться.

Он подошёл к боковому окну, выходящему на подъездную дорожку, и Ребекка, не меняя позы, одними глазами проследила за отцом. Артур посмотрел на улицу, на подстриженную лужайку, на кованую ограду и на пустую, мокрую дорогу за ней.

— В четверг к шести придут гости, — сказал он, всматриваясь в наползающую вечернюю темноту. — Портрет должен висеть в гостиной. Приходите в среду и в четверг утром. Что бы ни случилось.

— Что бы ни случилось? — переспросила Оливия.

— В четверг ей двенадцать. — Он улыбнулся одними губами. — Я не хочу, чтобы гости смотрели на пустую стену.

Он повернулся и ушёл вниз. Оливия слышала, как он грузно ходит из комнаты в комнату, как глухо скрипнула массивная дверь кабинета и закрылась.

Она смешивала охру с белилами и думала о том, как третьего сентября, в четверг, впервые пришла в этот дом. Первый сеанс Артур назначил на четверг, а потом попросил приходить по вторникам и средам.

Тогда она приехала с запасом, почти на час раньше: боялась опоздать в первый раз, а автобусы оттуда ходили редко, и ждать на улице было холодно. Весь этот час она просидела на лестнице, дожидаясь, когда её позовут наверх. Ровно в четыре часа, минута в минуту, дверь кабинета отворилась и оттуда вышел мужчина. В длинном тёмном кашемировом пальто, высокий, прямой, без шапки, с тем неторопливым, вальяжным шагом, каким ходят люди, которым не нужно торопиться, потому что их всё равно подождут. Он шёл к выходу спиной к ней и ни разу не обернулся. На затылке, между воротником и жёсткими волосами, темнела маленькая синяя татуировка: крест.

Дверь за ним осталась приоткрытой. Оливия, не поднимаясь с лестницы, успела разглядеть в глубине кабинета массивный стол, кожаное кресло, а в углу серую железную коробку, наполовину завешенную тяжёлой портьерой. Несгораемый шкаф, решила она тогда и больше о нём не вспоминала.

Оливия зарисовывала всё, что попадалось на глаза, считая это дурной, почти постыдной манией вроде привычки грызть ногти. Пока шаги незнакомца стихали в холле, она успела набросать его затылок, линию плеч и жёсткий воротник на обороте листа, прямо на колене. Следом из кабинета вышел Артур, серый, как мокрая бумага, и бросил: «Деловой знакомый». Он произнёс это слишком быстро.

Лист так и остался в её блокноте, зажатый между набросками рук Ребекки и бесконечным списком долгов.

К половине восьмого оставалась только правая ладонь. Ребекка послушно слезла с подоконника, достала из кармана платок и на секунду уткнулась в него щекой. В блокноте она быстрыми штрихами написала один вопрос: «Вы придёте в среду?»

— В среду и в четверг, — пообещала Оливия. — А в четверг кто-то в этом доме станет на год старше и получит всё, что захочет.

Ребекка серьёзно кивнула, и только потом Оливия поняла, что это безмолвное движение было клятвой.

Ближе к восьми в дверь стукнули костяшками. Артур, не заходя, поставил на пол у порога поднос — запеканка, стакан молока, сложенная салфетка — и сказал дочери только: «Ешь, пока горячо». На Оливию он не посмотрел. Ребекка кивнула, и ужин стыл у двери, никем не тронутый.

Ладонь не давалась. Свет безжалостно уходил, лампа на мольберте желтела, и Оливия трижды переписывала пальцы, стирала краску тряпкой почти досуха и заново поправляла контур углём. Без десяти девять она наконец сдалась: прополоскала кисти в банке с растворителем, накрыла холст чистой холстиной и собрала этюдник. Въедливые чёрные следы от угля она привычно вытерла обрывком хлопчатобумажной ветоши, которую всегда таскала в заднем кармане джинсов. Пальцы отошли, ладонь осталась серой от угля. Дом притих; только часы внизу мерно считали секунды, и Оливия в последний раз проверила, ровно ли стоит мольберт.

В холле тянуло холодом, как бывает, когда где-то открыта дверь на улицу. Часы тикали все разом, суматошно. Оливия постояла у лестницы, слушая. Из глубины дома, со стороны террасы и второй гостиной, отчётливо тянуло сквозняком: там, кажется, была неплотно прикрыта стеклянная дверь. Оливия списала сквозняк на обычную невнимательность хозяина — в конце концов, отвечать за открытые двери в чужом доме было не её делом.

На другом конце холла темнела закрытая дверь кабинета. Из-под неё пробивалась тонкая, резкая полоска света.

Оливия подошла и постучала. Дважды, негромко, костяшками пальцев.

Никто не ответил.

— Артур?

Полоска света под дверью на мгновение прервалась, будто кто-то прошёл мимо лампы, и снова легла ровно. Оливия решила, что ей показалось.

Тишина за дверью стояла плотная, как войлок. Не слышно было даже радио, которое он обычно включал по вечерам вполголоса. Хозяин устал, у него свои дела, а ей платят исключительно за портрет. Завтра она придёт к половине пятого, он откроет, и они спокойно поговорят о ладонях и о свете.

Она пошла через холл к вешалке, ступая по деревянным доскам так, чтобы они не скрипели. У консоли случайно задела рукавом бронзового бегуна; тяжёлая статуэтка опасно качнулась, и Оливия испуганно придержала её ладонью, серой от угля, поставила на место и поспешила дальше. За спиной дом молчал, и от этого молчания шаг сам собой становился быстрее.

На площадке у детской резко скрипнула половица. Оливия подняла голову. Наверху тут же всё замерло. Она решила, что это Ребекка: та иногда выходила на площадку и замирала там в темноте, не показываясь, и Оливия научилась её не окликать. Оклик всегда пугал девочку и загонял её обратно в комнату. Хотелось подняться и погладить её по светлым волосам, но этого делать было нельзя: Ребекка принимала только то, что ей предлагали молча. Если бы кто-нибудь спросил Оливию, зачем она ходит в этот дом, она бы ответила: за деньги. И это была бы неправда.

Наверх Оливия не пошла.

Пальто висело на третьем крючке, хотя она точно помнила, что вешала его на второй. Левую полу ощутимо оттягивало книзу, словно плотная подкладка насквозь напиталась сыростью. Оливия надела пальто, застегнулась до самого горла и в карман не полезла — руки застыли ещё в холодном холле. На крыльце поставила этюдник на ступеньку и переложила ремень с левого плеча на правое.

Ступенька под подошвой поехала, и в челси сразу натекло. Сад чернел без единого огня, дорога за оградой пустела. Оливия прикрыла за собой калитку и пошла вдоль озера, не оглядываясь. Дом остался за спиной: одно светящееся окно кабинета и красный глазок камеры над входом.

В семь минут десятого глазок погас. Вслед за ним беззвучно погасли остальные камеры, и дом окончательно ослеп. Камеры писали на чёрный ящик, спрятанный в кладовке под лестницей; к утру в нём не осталось ничего. Но Оливия не оборачивалась и этого не видела.

Километра два по тёмной, пустой улице вдоль воды она знала наизусть: за месяц ходьбы здесь ей не попалось ни одной муниципальной камеры на столбах, ни одного открытого круглосуточного магазина. Только глухие заборы, мокрый асфальт и редкие мигающие фонари. Она шла, не торопясь и слушала ритм собственных шагов.

Через сотню шагов она снова вспомнила про лист в блокноте. Рисунок вышел пугающе удачным: затылок, воротник, крест. Почти месяц она не спрашивала себя, кто был этот тайный визитер, и правильно делала. Ей и сейчас не хотелось этого знать.

Небольшой приозерный парк Лог-Бум встретил её пустой аллеей: две скамейки, фонарь и старый причал, который мерно покачивался на чёрной воде. Калитку парка на ночь никто не запирал. Дошла она без спешки — автобусы в такое время ходили как повезёт, а вызывать такси прямо к дому Вандербильта казалось ей непозволительной роскошью. Она села на дальнюю скамейку лицом к озеру.

Оливия по привычке поискала, за что зацепиться глазом, и нашла только фонарь: жёлтое пятно дрожало на воде и распадалось, стоило попытаться его удержать.

Потом она достала телефон и открыла банковское приложение. Шесть тысяч двести. Она смотрела на светящуюся цифру минуты три, чувствуя, как внутри разливается глухое оцепенение, а потом сунула телефон обратно в карман.

Не перевела. Хотя могла прямо сейчас: аренда мастерской висела за ней с середины месяца, кредиторы звонили по утрам с равными интервалами, как проклятые часы в холле Вандербильта. Но она знала: как только она нажмёт кнопку «перевести», деньги перестанут быть её. Пусть побудут её хотя бы до утра. Этого мимолётного чувства защищённости она не знала слишком давно.

Впереди, в прибрежных камышах, что-то тяжело поднялось на крыло и пошло над водой низко и медленно. Она вздрогнула, прежде чем разглядела в тумане силуэт цапли.

Мимо неё так никто и не прошёл: ни собачников, ни полуночных бегунов, только вода, сырой ветер и фонарь, который то гас, то зажигался, точно дразнил её.

Через сорок минут она окончательно замёрзла и вызвала такси.

Приложение обещало белую «Камри» через десять минут и показало фиксированную цену: сорок с лишним долларов. Первые деньги из этих шести тысяч, которые уйдут не на погашение долгов. Оливия кивнула сама себе, дождалась, пока экран погаснет, и ещё несколько минут сидела не двигаясь. У дальнего конца причала глухо плеснуло, коротко и тяжело, как падает в воду камень. Рыба, решила она. В этом озере всё было крупнее, чем казалось. Наконец она поднялась со скамьи.

В салоне висел застоявшийся табачный дым, густой до кислого. Водитель спросил адрес, выслушал, включил радио и больше не проронил ни слова. В блоке новостей говорили про мужчину, чьё тело на прошлой неделе выловили из реки в Орегоне: сегодня его наконец опознали, в Сиэтле он работал криминальным журналистом. Оливия смотрела на тёмные приго-

родные дома, на одинаковые ограды, на фонари, летевшие мимо, как кадры чужой испорченной плёнки, и думала исключительно о ладонях Ребекки. Ладони нужно писать быстрее, пока осенний свет не изменился окончательно. В среду она обязательно возьмёт с собой больше охры.

В четверг у Ребекки день рождения. До него оставалось два дня и одна незаконченная ладонь.

Всю дорогу до Сиэтла она упорно собирала сегодняшние странные мелочи в одно удобное, успокаивающее объяснение. Хозяин просто устал, у него дела, и он не обязан был отвечать на её стук. Пальто кто-то из домашних случайно передвинул на соседний крючок, чтобы удобнее было снять своё. Левую полу всё ещё оттягивало книзу из-за сырости.

Объяснение выходило складное, безопасное. Не вписывался в него только яркий свет под дверью кабинета, за которой не раздавалось ни единого живого звука. Оливия заставила себя добавить и это: он просто работал в наушниках.

Такси наконец затормозило у её дома. Оливия расплатилась и поднялась на свой этаж старого, чуть осевшего здания на трассе Аврора, где лестница пропахла чужим ужином, а лампа в подъезде гудела так, что её слышно было с улицы.

В двух комнатах с низкими окнами в чугунных решётках было опрятно и бедно: чистая раковина, две кружки на сушилке, герань в белых пластиковых горшках. За деревянной ширмой стояла кровать, вдоль стены — её собственные работы, непроданные, холстами к стене. На холодильнике висела фотография, которую она так и не решилась снять: она, на год моложе, смеётся, а мужчина, обнимающий её за плечи, смотрит не в объектив, а на неё. Два письма из банка, оба нераспечатанные, оба с августа, лежали на столе рядом с банкой джема.

Входная дверь запиралась на один оборот: второй замок сломался в июне, и до него так и не дошли руки. За тонкой стеной у соседа бубнил телевизор.

В темноте пахло корицей, яблоками, льняным маслом и подсохшей краской — этим тёплым сложным запахом дома, который она узнала бы с закрытыми глазами.

Пальто она повесила на привычный гвоздь у двери. В подкладке что-то негромко стукнуло, раз и другой, как пуговица о пуговицу. Оливия постояла в темноте, прислушалась: тихо. Руки стыли, свет она так и не зажгла; разобраться со всем решила утром.

* * *

Среда, 30 сентября. 7:10.

Её разбудил сосед: за стеной в очередной раз включился телевизор, и диктор бодро сообщил, что затяжные дожди в Сиэтле задержатся до самых выходных. Оливия лежала под старым одеялом и слушала про дожди, пока в памяти внезапно не всплыл странный стук в подкладке пальто.

Пальто висело там же, где она его оставила. Она сняла его с гвоздя, сунула руку в глубокий прорез подкладки и вытащила наружу часы.

Золотые, неприлично тяжёлые, на короткой массивной цепочке, с полувытертой старинной гравировкой по ободку и выпуклым стеклом. Крышка легко открылась под ногтем, и под стеклом виднелись две тонкие стрелки, одна короткая, другая длинная. Шли.

Такие часы она уже видела, но только на глянцевой бумаге: на журнальном столике в гостиной Вандербильта лежал тонкий каталог его личной коллекции, снимки при безупречном музейном свете, предмет за предметом, с номерами под каждой фотографией. Она листала его в ожидании, пока девочку приведут наверх, и на одном из разворотов были именно эти часы, с цепочкой, под порядковым номером, и цена стояла там же, мелким, безжалостным шрифтом.

Оливия села на край кровати и подержала их на ладони. Часы были тяжелее всего, что она заработала за этот проклятый месяц.

Как они попали в подкладку её пальто, она не понимала. Версий было три, и все три ей не нравились. Первая, самая логичная: хозяин дома сам тайно опустил их туда. Он ведь весь вечер

вёл себя странно — заплатил вперёд, дёргался, проверял телефон, а уходя, заперся в кабинете и бросил это дурацкое: «что бы ни случилось». Возможно, так этот богатый безумец решил спрятать ценность или расплатиться с ней на случай, если его счета заблокируют. Вторая версия: девочка сыграла в свою тихую, немую игру, но к её вещам Ребекка никогда не подходила. И последняя, от которой в её уютной комнате на Авроре становилось холоднее, чем на улице: её пальто вчера вечером висело на третьем крючке, а не на втором.

Она защёлкнула крышку и поднесла к уху: внутри что-то сухо щёлкнуло.

Никаких подарков. Такие вещи в мире антикваров не дарят и не забывают.

Она взяла телефон, нашла в контактах номер Артура и долго смотрела на него, а потом медленно положила аппарат обратно на одеяло. Сказать человеку, который с гордостью заявлял, что его камеры видят даже мышей: «Ваши коллекционные часы оказались у меня в пальто»? Камера над входом чётко зафиксировала, как она выходила: застёгнутая до самого горла, с левой полой тяжелее правой. Сама она вчера решила, что это сырая подкладка, а полицейская плёнка решит иначе. Нет. Часы надо отдать лично, из рук в руки, в доме, где внутри, сколько она ни смотрела, не было ни одной скрытой камеры. И отдать вовремя: сеанс назначен на обычное время, к половине пятого, а являться раньше срока с золотом в кармане — хуже, чем прийти как всегда. Тихо, без лишних разговоров и без свидетелей, чтобы никого не выставить вором и не остаться им самой.

Оливия завернула часы в шерстяной носок, положила их во второй ящик комода, под гору старых свитеров, и плотно задвинула ящик. Несколько секунд она не двигалась и слушала. Из дерева комода не доносилось ни звука, но она знала, что там, во тьме, тикает.

Далеко от неё, в доме на берегу озера, по-прежнему горела одна лампа. Она горела с самого вечера, освещая разбросанные бумаги, и выключить её в этом доме было уже некому.

Глава 2. Дом с пятью глазами

Среда, 30 сентября. 8:00. Кенмор, штат Вашингтон. Дом Артура Вандербильта.

Марта Грэйс приходила четыре раза в неделю, двадцать лет подряд, и всегда с одной и той же сумкой на колёсиках, в которой лежали тряпки, средство для камня и термос с кофе, остывший с шести утра. Ключ от калитки у неё был свой, ключ от чёрного хода тоже, и оба поворачивались туго, потому что замки в этом доме не смазывали с прошлой осени.

В холле пахло воском и старыми досками. Мокрая куртка легла на крайний крючок, сумка стукнула колёсиками о половицу и встала у стены, между ведром и ящиком со щётками. Свет в холле Марта не включала, шла на память, по скрипу половиц, к консоли: двадцать лет она начинала день одинаково, снимала бронзового бегуна, холодного на ладони, вытирала под ним лак и ставила на место.

А в доме горел свет.

Она постояла, прислушалась. Тише, чем должно быть: ни радио, ни шагов по второму этажу, ни голоса, которым хозяин разговаривал с часами, как с живыми. Первая мысль была глупая и спокойная: хозяин уехал, забыл погасить. Однако она дошла до консоли и увидела, что бегуна нет, и глупая мысль кончилась. Под часами, между вытертым пятном на мраморе и краем салфетки, лежала светлая тень бегуна, и от неё у Марты сразу заныло под ложечкой.

Она подошла к двери его кабинета.

— Артур? — сказала она в тишину, как говорила каждое утро, хотя отвечать ей было некому. Голос вышел тоньше обычного, и она сама это услышала.

Никто не ответил. Часы за её спиной продолжали считать.

Марта взялась за ручку, толкнула дверь и осталась на пороге, потому что ноги дальше не пошли.

Артур Вандербильт лежал ничком между столом и креслом, головой к портьере, одна рука откинута, вторая под ним. Крови было на удивление мало: волосы слиплись на затылке, за воротник рубашки натекла тёмная полоса, и на паркете под головой расплылось пятно размером с блюдце, уже подсохшее по краю. Пахло железом и старой пылью от портьеры.

Марта не вошла. Она смотрела в кабинет так, как смотрят в чужую комнату, где нельзя ничего трогать. Портьера в углу была отведена, и серая железная коробка стояла открытой: дверца откинута, внутри темно и пусто. Ящик письменного стола вышел на палец. Папки, которые хозяин держал ровной стопкой, лежали веером, как карты. Лампу на столе никто не выключил.

Она сняла руку с ручки, вытерла её о передник, как вытирала после сырого мяса, отступила в холл и набрала 911. Голос у неё был тот, каким она двадцать лет отвечала хозяину: коротко и по делу, адрес, имя, что нашла и когда. Диспетчер спросила, есть ли в доме кто-то ещё, и Марта замолчала, потому что не подумала о девочке. Потом поднялась наверх.

Дверь в спальню хозяев была открыта. Марта привыкла видеть её закрытой, и это царапнуло её сильнее, чем открытая коробка: хозяин даже днём закрывал её за собой. Внутри, у кровати, ящик ночного столика стоял криво.

Из спальни Марта пошла дальше по коридору, к детской; дверь была приоткрыта. Ребекка сидела на своей кровати одетая, с блокнотом в руках, и смотрела на дверь. Марта вошла и не нашла ни одного слова, которое годилось бы для этой комнаты. Она присела на край кровати, рядом, и не стала трогать девочку: её можно было только ждать. Девочка посмотрела на неё, потом на дверь за её спиной, и всё поняла без слов, потому что и так умела понимать всё. Губы у неё были искусаны до красноты и мелко дрожали, а глаза оставались сухими.

Марта спустилась вниз, налила себе воды и вылила её в раковину, не выпив. Дела у неё больше не оставалось. Она села на стул в холле, под часами, положила руки на колени и стала ждать, глядя на дорогу за оградой, по которой в такую рань не ездил никто.

Патрульная машина управления шерифа округа Кинг встала у ограды в 8:23.

* * *

В это время, в двадцати минутах от Кенмора, Уильям Уэнс доедал вчерашний сэндвич за рулём своего «Мустанга» девяносто шестого года, а Алекс Гранчестер, сидевший справа, в расстёгнутой косухе поверх белой футболки, читал ему вслух вводную.

Щётки ходили туда и обратно, и Кенмор подступал к дороге мокрыми крышами и чёрной водой между причалов. Уилл вёл одной рукой, в другой у него был сэндвич, а бумажный стакан остывал в гнезде между сиденьями с самой заправки: остывший кофе он не пил вообще.

— Кенмор, — начал Алекс. — Дом на озере, Ботелл-Уэй. Вандербильт, антиквариат. Нашла домработница, в кабинете, в восемь утра. Взлома нет.

— Ребёнок? — спросил Уилл.

— Девочка, одиннадцать. Не говорит.

— Совсем?

— Совсем. Пишет только на бумаге.

Уилл перестроился в правый ряд, и сэндвич кончился в два укуса. Мятая бумага полетела в карман дверцы.

— Господи, Уэнс, — Алекс наконец оторвался от телефона и с тоской посмотрел на пустые руки напарника.

— Ты его даже не жевал. Это был твой завтрак?

— Да.

— Вчерашний с заправки?

— Он лежал в холодильнике, — ответил Уилл, глядя прямо перед собой на мокрый асфальт. — В холодильнике еда не портится, для этого его и придумали.

— Ты поэтому один живёшь.

— Я поэтому один и завтракаю.

Печку Уилл включать не стал: «Мустанг» отвечал на неё так, что в салоне становилось только холоднее.

— Ты опять зависаешь в ленте?

— Я в двух окнах, — ответил Алекс, и пальцы у него побежали по стеклу быстрее, напоказ. — Тут вводная, там девочки. Работать надо везде.

— Камер сколько?

— Пять, по периметру. — Алекс поднял глаза от экрана. — И ни одной записи.

— Как ни одной? — Между бровей у Уилла легла складка.

— Ни вечера, ни ночи. Патрульные заглянули в кладовку: архива нет. Чисто, как в аптеке.

— И кто же её выключил?

— Питание в порядке, автоматы целые. Значит, руками.

— Или с телефона, — сказал Алекс, не поднимая глаз от экрана. — У этих систем приложение в телефоне хозяина.

— Значит, кто-то знал, где у него лежит телефон, — сказал Уилл.

До самого поворота он больше не сказал ни слова, глядя на дорогу. Впереди вставал тот слишком аккуратный порядок, каким богатые дома огораживаются от улицы: стриженая лужайка, гравий, забор с коваными шипами.

— Дом с пятью глазами и без единой живой души у ворот, — произнёс он раздумчиво, пробуя слова на вкус. — Этот человек боялся, что у него украдут всё, кроме камер?

— А ещё сейф в кабинете открыт, — сказал Алекс и перевернул экран к нему. — Что в нём лежало, пока не знают. Стол перерыт, бумаги разбросаны.

Уилл скользнул глазами по экрану и вернул их на дорогу.

— Важные бумаги, — сказал он, постукивая пальцем по рулю. — Деньги берут и уходят, по папкам их не ищут.

Он вырулил на Ботелл-Уэй и сбросил скорость: впереди у обочины мигали синие огни, и вокруг ограды с коваными прутьями уже натягивали ленту. Дождь шёл мелко, как из пульверизатора, и всё за стеклом было серым на сером.

— Там ещё будут картины, — сказал Алекс, и в голосе у него была та же тоска, с какой он говорил про бумажную работу. Он сполз по сиденью, упёршись коленями в бардачок. — Галереи, аукционы, люди, у которых в телефоне по три адвоката. Долбаные аукционы. Я их ненавижу заранее.

— Искусство — это способ отмывать деньги, только в рамах, — заключил Уилл.

— Ты это уже говорил.

— Значит, повторю при любителях искусства, что мы из мусорной службы.

Алекс фыркнул и хотел ответить что-то ещё, но в этот момент снова посмотрел в экран, и лицо у него изменилось.

— В четверг у дочери Вандербильта день рождения, — сказал он уже у самой ленты, тише, не поднимая глаз. Голос стал плоским, будто он зачитывал очередную строку вводной. — Двенадцать лет. Гостей ждали к шести.

Щётки прошли ещё раз, потом ещё. Уилл ничего не сказал, и до самого дома Алекс больше не читал вслух.

— Доброе утро, детектив. Он там, — сказал патрульный у ленты и показал подбородком на окна. Козырёк у него был мокрый, голос ломкий, и держался он слишком прямо. — В кабинет и наверх мы не поднимались.

— Правильно, — сказал Уилл и коротко хлопнул его по плечу. — Внутри теперь наша работа.

Он натянул бахилы, поднялся на крыльцо и вошёл.

В холле тикали часы. Десять голосов, и ни одного человеческого. Под ними стояла консоль, на консоли лежала салфетка, а слева от салфетки, в пыли, белело чистое пятно с отпечатком подставки.

Уилл наклонился. След был размером с ладонь, с чёткими, острыми углами.

Стены в холле стояли пустые. Не голые: в трёх местах на обоях держались бледные прямоугольники с резкими краями, и обои вокруг них успели выгореть за те годы, что на этом месте ничего не висело. Полотна сняли отсюда давно, и не в один день.

Из кухни вышла женщина лет пятидесяти, в застиранном переднике, с телефоном в руке. Она не удивилась и не испугалась, услышав чужие шаги. Просто вышла и встала, держа телефон у груди, как держат то, с чем уже нечего делать. Плакала она, судя по лицу, давно и беззвучно.

— Вы Марта? — спросил Уилл и остановился, не подходя ближе.

— Грэйс, — сказала она хрипло и откашлялась. Подбородок у неё чуть приподнялся: этим именем она держалась. — Марта Грэйс. Я у них двадцать лет работаю. Работала.

Уилл достал блокнот, посмотрел на её руки и убрал.

— Что вы трогали в доме?

— Так… Дверь. Я за неё взялась, когда открывала. — Она посмотрела на свои руки словно впервые их увидела, и пальцы тут же сцепились в замок. — И всё. В кабинет я не входила. Наверху только к девочке зашла. И в спальню хозяев заглянула: дверь там открыта, а она у нас всегда закрыта. И ящик у кровати стоит криво. Я ничего не трогала.

— Это я посмотрю. — Уилл глянул на лестницу. — Кто бывал в доме в последние дни?

— Я. Хозяин. Девочка. — Марта подумала, и в этой паузе было слышно, как над ними идут часы. — Художница. Она приходит к ребёнку по вторникам и средам, к половине пятого.

Последнее она сказала без выражения, глядя мимо Уилла, и одёрнула передник.

— А вчера она во сколько ушла?

— Не знаю. Я ухожу в пять, а она остаётся работать.

— И калитку за ней кто запирал?

— Калитка у нас не заперта, — ответила Марта, и в голосе прорезалась сухая, почти хозяйская строгость. — Прикрыл и пошёл. Вечером хозяин запирает дом, а калитку оставляет.

Уилл указал на пустые прямоугольники на обоях.

— А картины отсюда куда делись?

— Хозяйкины? — Марта поджала губы: этот вопрос она слышала не от него первого. — Хозяин снял их сам, в тот год, когда её не стало. Больше я о них не слышала, и в доме их нет.

— Когда её не стало?

— Три года назад, — ответила Марта сразу, без запинки: эту дату она носила в себе. — И камеры он тогда же поставил, сразу после. Пять штук, со столбами. — Она посмотрела в окно, на столб за оградой. — Мне он ничего не объяснял: я убираю, а не спрашиваю.

— Ключи от дома у кого? И сигнализация?

— От чёрного хода у меня, от калитки тоже. От передней — у хозяина, он её всегда сам запирал. — Она машинально тронула карман передника, где звякнула связка. — Сигнализации нет. Он говорил, что та, которая орёт, заходится, когда уже всё украли.

— Пять камер и сейф, а сигнализации нет.

— Пять камер, — повторила Марта. — И ни одной двери, которую он запирал бы сам, кроме передней.

Уилл отвернулся к окну, за которым вода лежала вровень с берегом. Артур Вандербильт доверял только своим глазам, понял он. И умер в доме, где не было ни одного свидетеля, кроме этих глаз.

— В четверг к нему гости должны были прийти, — сказал Уилл, не оборачиваясь.

— К шести, — отозвалась Марта. Голос у неё не дрогнул. — Ребекке завтра двенадцать, пирог заказан.

— Кому-то об этом сказать надо. — Уилл повернулся, и лицо у него смягчилось.

— Надо, — сказала Марта и подняла на него воспалённые красные глаза.

Она сказала это спокойно, и Уилл понял, что она уже всё успела передумать за это утро.

Искать художницу он пока не стал. Если придёт сама к половине пятого, это тоже будет ответ.

— Холл и дверь пока только фотографируйте, — распорядился он. — В кабинет не входить. И никого туда не пускать, включая меня.

Патрульный заморгал, не понимая, шутка это или нет. Уилл не стал пояснять.

Он заглянул в кабинет с порога.

Свет горел в лампе на столе, и в этом свете было видно то, что успела увидеть Марта. Паркет в кабинете был натёрт до того ровного блеска, при котором следу некуда спрятаться, и на нём не осталось ничего. Ни отпечатка, ни соринки.

— Он тут убрался, — сказал Алекс за спиной, негромко, оглянувшись на холл.

— Он тут возился минут десять, — сказал Уилл с неохотным уважением. — Сейф, стол, потом пол. За две минуты такое не делается.

— На первый взгляд орудия нет. — Алекс встал рядом и сунул руки в карманы косухи.

— Вижу.

— Взял с собой то, чем ударил.

— Тут два варианта, — сказал Уилл. — Либо оно было его собственное, и своё он оставлять не захотел. Либо оно чего-то стоило, и он прихватил его заодно с сейфом. Вор, который берёт деньги и уносит с собой молоток. Ты такого видел?

— Один раз. Тогда молотком был утюг.

Уилл хмыкнул, одним выдохом, и потёр переносицу.

— Свет, — сказала Марта от консоли, и он обернулся. Она стояла, обхватив себя за локти, и смотрела на полоску под дверью кабинета. — В кабинете он всегда гасил, уходя. А сегодня я вошла в восемь и сразу увидела под дверью полоску.

— То есть лампа горела всю ночь? — Уилл шагнул к ней.

— Всю ночь. — Марта кивнула, и лицо у неё на миг стало совсем грустным.

Значит, свет зажгли вчера и не выключили до утра. Камеры молчат, свидетелей нет, а лампа горит: единственные часы в этом доме, которые нарочно оставили идти.

— Бегун, — проговорила Марта, не дожидаясь вопроса, и показала подбородком на консоль. — Бронзовая статуэтка. Вчера он был.

— Когда вы видели его в последний раз?

— В пять, когда уходила. Я его каждое утро поднимала, чтобы протирать под ним лак. — Ладонь её сама сжалась, словно всё ещё держала холодный металл.

— Значит, на нём ваши отпечатки.

— Мои, — сказала Марта и выпрямилась. — Всю жизнь мои.

— Тяжёлый?

— Килограмма три. — Марта прикинула вес, сложив ладони на уровне груди. — Хозяин говорил, девятнадцатый век.

— Часы он сам заводил? — спросил Уилл, указав пальцем на механизм.

— По средам. Все десять, по очереди, и с каждым разговаривал. — Марта посмотрела туда же, и голос у неё потускнел. — Я думала, это от одиночества. А потом он стал с ними ругаться.

Сегодня среда, и часы никто не завёл. Уилл отметил это про себя и пока не знал, зачем.

На крыльце затопали, и в холл, стряхивая с плеч воду, вошёл врач: полный, в очках с запотевшими стёклами, с двумя сумками, одна на ремне через плечо.

— Рад всех приветствовать. Куда? — спросил врач. Он тяжело дышал после крыльца и щурился на свет.

— Пока никуда, — ответил Уилл. — В кабинете ещё снимают. Подождите в холле, я скажу, когда можно.

— Мне бы простыню и свет, с другой стороны, — сказал врач буднично, не глядя на Уилла.

— Простыню дадут. — Уилл мотнул головой молодому патрульному, и тот пошёл за простынёй.

Фотограф работал двадцать минут: сначала дверь и холл, потом кабинет, шаг за шагом, от порога к столу, и Уилл всё это время стоял в дверях и следил, чтобы внутрь никто не заходил. Только когда он разрешил, врач прошёл мимо него с сумкой, и за дверью стало слышно, как шуршат, как щёлкает затвор и как он бормочет себе под нос. Возился он четверть часа. Вышел, вытирая очки о рукав.

— Удар один, — заключил он, надев очки обратно. — Сзади, по затылку, тяжёлым и плоским. Били не несколько раз, били один раз и хорошо.

— Чем?

— Не молотком. Широкое, без граней. — Врач сомкнул ладони, показывая плоскость. — Металл, скорее всего. Экспертиза покажет.

Уилл посмотрел через холл на консоль, на светлый след в пыли. Три килограмма и широкая подставка. Вслух он этого говорить не стал.

— Время?

— Между восемью вечера и полуночью. Точнее не скажу до вскрытия. — Врач поморщился. — Да и вскрытие не всегда скажет.

— Большой разбег, — заметил Уилл. — Хотелось бы поточнее.

Врач посмотрел на него поверх очков и ничего не ответил.

Уилл записал в блокнот: удар один, сзади, плоское и тяжёлое. Время: от восьми до полуночи.

Кладовка была под лестницей, за дверью без ручки. Уилл спустился туда с фонарём, и в свете его луча полка оказалась чище любого другого места в доме: на ней стоял чёрный ящик размером с коробку из-под обуви, крышка снята, внутри пусто. Ни диска, ни карты памяти, ни пыли. Он провёл пальцем в перчатке по краю полки и не нашёл даже соринки. Рядом с ящиком, на той же полке, мигал белый роутер: камеры выходили в сеть, а у сети всегда есть память. Уилл набрал Алекса: «Запроси у сервиса, который делал им приложение, журнал команд. Мне нужна секунда, когда они погасли, и с чьего телефона».

Патрульный, стоявший наверху, доложил, что питание в порядке.

— Дело не в питании, — сказал Уилл скорее себе, чем ему, и притворил дверь кладовки.

Кто-то вынес из этого дома память, и вынес аккуратно, не торопясь, с тряпкой в кармане.

Наверху, в детской, за столом у окна сидел молодой патрульный и старательно молчал. Ребекка сидела на кровати, одетая в голубой кардиган и синие штаны, с блокнотом на коленях. Светлые волосы лежали вдоль щёк, лицо было белое до синевы, а руки застыли на закрытом блокноте. На полу у двери стояла тарелка с нетронутым ужином. Кровать была застелена. Девочка сидела поверх одеяла и ждала, похоже, с самого рассвета.

Уилл сел на край кровати, не слишком близко. Девочка повернула голову и впервые посмотрела ему в лицо.

— Тебя зовут Ребекка, — сказал он, стараясь говорить медленно. — Я Уилл. Это не допрос. Мы просто поговорим, а потом я позову женщину из службы, и мы поговорим все вместе.

Она не пошевелилась.

— Ты вчера видела отца?

Она кивнула, медленно, глядя ему в подбородок.

— Ты выходила из комнаты?

Она помедлила, потом резко покачала головой.

— Ты что-нибудь слышала?

Девочка замешкалась на секунду, и пальцы на блокноте дрогнули. Тут же покачала головой, коротко, как отмахиваются от мухи. И Уилл понял, что больше из неё ничего не вытянет. Она, может, и хотела, но за три года выучила, что говорить некому. Он не стал настаивать. Он задержал глаза на мольберте у окна: на нём что-то стояло под чистой холстиной, и ткань провисала бугром.

— Художница накрыла, — сказала от двери Марта. Она не входила и говорила вполголоса, словно в комнате спали. — Она всегда накрывает, когда уходит.

Уилл кивнул и хотел уже встать, но девочка вдруг сунула руку в карман кардигана и достала белый платок, помятый и застиранный, с вышитой в уголке буквой. Уткнулась в него щекой и закрыла глаза. Чей это платок, Уилл спрашивать не стал: он уже понял, что этот дом отвечает на вопросы только тогда, когда его не торопят.

В дверях он остановился и тихо спросил у Марты, глядя на тарелку:

— Ужин кто приносил?

— Хозяин. Только он. — Марта не отрывала глаз от остывшей запеканки. — Ребекка из чужих рук не ест.

— Значит, вчера вечером он был ещё жив, когда нёс. — Уилл записал в блокнот: «ужин — когда?» и подчеркнул вопрос.

Он вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Через две двери от детской была спальня хозяина, и дверь в неё стояла открытой.

Он заглянул внутрь. Постель была застелена гладко, и в эту ночь в неё никто не ложился. У кровати, наклонившись из паза, торчал ящик ночного столика: в нём лежали очки в роговой оправе, блистер с таблетками и книга с закладкой на середине.

— Марта, — позвал Уилл через плечо. — Вы говорили про этот ящик. Здесь вы прибирались вчера?

— В спальне? Утром. — Она поднялась по лестнице и остановилась в двух шагах, не заходя. Она глянула на ящик и тут же снова уставилась в пол. — И дверь я оставила прикрытой, я всегда прикрываю. А ящик он сам так оставил. Он очки искал. Выдвинет и не закроет, если торопится.

Уилл посмотрел на застеленную постель. Значит, наверху хозяин был вечером сам, и в постель так и не лёг.

Про вторую гостиную Марта сама не заговорила, но Уилл знал о ней по плану дома, который патрульные сняли утром: в этом доме был второй выход. Проход из холла вёл во вторую гостиную, и там было холоднее, чем в остальных комнатах. Рояль стоял закрытый, и пыль лежала на крышке небольшим слоем, нетронутая. В полу у самого стекла была выщерблена доска. У окна стояло старинное кресло, повёрнутое к воде, и на нём лежал бежевый плед, сложенный вдвое, будто кто-то сидел здесь подолгу и каждый раз аккуратно вставал. Пахло холодной водой и пылью, как в закрытой лодке.

За роялем была стеклянная дверь. Прикрыта, но не заперта; замок целый, без свежих царапин.

— Она у вас заперта бывает? — спросил Уилл, и голос его глухо покатился по пустой гостиной.

— Хозяин запирал, когда вспоминал, — отозвалась из холла Марта, не двигаясь с места.

Уилл толкнул дверь плечом, и стало слышно, как под досками хлюпает вода. С террасы вниз, к воде, спускались три каменные ступени, все три мокрые. На досках, вплотную к двери, темнела полоса грязи, и в ней полустёрся отпечаток подошвы: рубец от сбитой набойки читался, носок был смазан, пятка вмята глубоко. Дальше, у самой воды, доски блестели.

Озеро лежало чёрное до другого берега. Влево, вдоль берега, вытянулись причалы: лодка под брезентом, потом ещё одна, потом пустые сваи, и между ними у самой поверхности покачивался оранжевый буй.

— Передняя заперта, — сказал патрульный снизу, чуть запыхавшись от лестницы. — Верхний замок и щеколда.

— А вечером дом запирает кто? — спросил Уилл, не обернувшись.

— Хозяин. — Марта стояла в дверях, и ветер от воды трепал край её передника. — Всегда хозяин.

Щеколда закрывается только изнутри. Кто бы ни вышел из этого дома последним, вышел он не здесь.

Уилл постоял на досках, глядя на воду. С фасада и вдоль ограды на столбах смотрели пять камер; здесь, у воды, не было ни одной, и это читалось отсюда по голому карнизу.

В кармане дрогнул телефон: пресс-служба уже спрашивала, что отвечать журналистам, которые узнали про труп раньше, чем он успел выехать со двора. Он не стал даже смотреть, кто звонил.

— Ни одного глаза со стороны воды, — сказал Алекс, оглядывая террасу и застёгивая куртку, потому что от воды тянуло холодом так, что стыли руки. — Он знал дом.

— Он знал расположение камер, — уточнил Уилл, не сводя глаз с воды.

— И ушёл по воде, — сказал Алекс и прищурился на тёмную линию свай. — Терпеть не могу дома у воды: воды много, а следов никаких.

— И ушёл по воде, — повторил Уилл медленно, прислушиваясь к тому, как это звучит.

Он обернулся к дому. В кабинете всё ещё горела лампа, а в холле, на консоли под часами, пустовало место размером с ладонь.

Глава 3. Рысь

Среда, 30 сентября. 16:22. Ботелл-Уэй, Кенмор.

День у Оливии не задался с самого утра. В мастерской в Джорджтауне пахло льняным маслом и скипидаром, как бывает только там, где работают руками, и она натянула на подрамник новый холст, потом ещё один, и оба раза бралась за грунт и бросала. Руки знали своё дело, а голова была в другом месте: она репетировала фразу.

«Ваши часы оказались у меня в подкладке. Я их не брала. Я не знаю, как они туда попали, и мне это не нужно».

Фраза звучала хуже с каждым разом. К двум часам Оливия догадалась, что дело не в словах, а в том, кто их слушает: человек, который говорил, что камеры видят даже мышей, посмотрит на неё внимательно и не скажет ничего. К трём она начала прикидывать, как скажет это Ребекке, и поняла, что не скажет и этого. Кофе она с утра не пила, обедала ещё вчера, и голод к вечеру сел под ложечкой и мешал думать.

Ей было тридцать шесть, и за последний год ни один мужчина не задержался в её жизни дольше, чем нужно, чтобы натянуть холст.

В половине четвёртого она набрала Артуру. Телефон не ответил. Она позвонила ещё раз через десять минут, послушала гудки и стала собираться. Пальто она натянула поверх чёрной водолазки, которая была на ней с утра. Внутри у неё при всём этом было спокойно, и это спокойствие ей не понравилось: так бывает, когда ждёшь плохого и уже устал ждать.

Утром она переложила часы из комода в сумку, а теперь вынула, развернула, посмотрела на свет: стрелки шли. Заворачивать обратно в носок ей показалось глупо, и она сделала хуже: положила их между двумя картонными папками с набросками. Подержала руку на застёгнутой сумке и убрала.

Автобус, пересадка в Ботелле, ещё автобус. К Ботелл-Уэй небо уже потемнело от дождя, и в окнах домов вдоль дороги горел свет. В автобусе пахло ржавчиной и сукном, разогретым у печки, и всю дорогу за стеклом тянулась вода: сначала река, потом озеро, потом чужие причалы, у которых стояли чужие лодки. На пересадке она вспомнила, как Вандербильт сказал ей, что заплатил вперёд, чтобы она не ругалась. Тогда это звучало как барская блажь. Теперь слова стояли в голове и не двигались.

Она сошла на своей остановке, поправила ремень этюдника и пошла знакомые пятьсот метров. Считала она на этот раз не долги. Она складывала первую фразу и всё время сбивалась на вторую.

Калитка была открыта настежь, и в проёме стояла белая машина с гербом округа. У ограды висела жёлтая лента, натянутая от столба к столбу, и на мокрой траве за ней стоял человек в форменной куртке и смотрел, как она подходит. У крыльца двое в таких же куртках тянули к дому кабель и поднимали в окно кабинета вторую лампу: она горела жёлтым и стояла криво, как чужая вещь.

Оливия остановилась. Ремень этюдника резал плечо, и она поймала себя на том, что перенесла вес на одну ногу. Ещё секунда, и она повернулась бы и ушла.

— Вы к кому? — спросил человек у ленты. Он говорил негромко, но смотрел не на неё, а на её руки.

— К Вандербильту. Я пишу портрет его дочери. Сеанс у нас в половине пятого.

Он ничего не сказал в ответ и поднял рацию к лицу; в рации что-то щёлкнуло и смолкло.

Оливия подняла голову. На втором этаже, в окне детской, за стеклом стояла Ребекка. За её спиной, в комнате, двигалась чья-то тень, слишком широкая для девочки, и девочка смотрела вниз, на дорогу, на неё, и не махала: просто стояла и смотрела. Оливия подняла было руку и тут же опустила: махать через ленту было глупо.

Из дома вышел мужчина в сером бомбере, без шапки, и подошёл к ленте, не глядя под ноги. Тёмные волосы у него торчали во все стороны и не сохли с самого утра, лицо было небрито на два дня, а глаза оказались серые, как это небо, и такие же холодные. Ростом он был выше неё на полголовы, шагал тяжело, руки держал в карманах.

Он остановился по ту сторону, и Оливия вдруг поняла, что стоит на дороге так, будто её сейчас будут допрашивать.

— Вы кто?

— Оливия Салантус. Я пишу портрет дочери мистера Вандербильта.

Мужчина оглядел её с головы до ног, задержался на пальто, набухшем по нижнему краю, имокром ремне этюдника.

— Сеанса не будет. Хозяина убили ночью.

Слова дошли до неё не сразу: сначала пришло «убили», потом «ночью», и только потом все эти слова встали рядом и стали одной фразой. Оливия опустила глаза на его ботинки, мокрые по самые шнурки, и услышала, как дождь стучит по крыше белой машины у ограды. Холодно ей стало не от дождя. В сумке, под папками, лежала чужая вещь.

— Как убили?

— Так и убили. — Он не смягчил ни одного слова. — Что вы делали здесь вчера вечером?

— Дописывала ладонь. — Она услышала свой голос и не узнала его: спокойный, тихий, чужой. — Я ушла без пяти девять.

— Почему так точно?

— Потому что в девять Ребекку укладывают спать. Я всегда ухожу до девяти.

— И к хозяину вы не зашли.

— Я стучала, но он не ответил.

— Не ответил, — повторил он, и в этом повторе было больше недоверия, чем в крике. Он вынул наконец руку из кармана, потёр подбородок и снова спрятал. — И вы ушли домой.

— Да, — сказала Оливия, и тут её наконец зацепило. Она подняла на него глаза. — Люди уходят, когда за дверью тихо. Вы разве нет?

— Я, когда за дверью тихо, начинаю копать, — ответил он. — Потому что у меня за этой дверью чаще всего лежит человек, который никому не ответил.

Она стояла перед ним на дороге, и рука сама прижала сумку к бедру. Он посмотрел на эту руку, потом в лицо, и ничего не сказал. Между папками, в двух шагах от его мокрых ботинок, лежало чужое золото.

Заготовленная фраза, отрепетированная до последнего слова, всё это время лежала у неё в горле и не выходила. Теперь она понимала почему. Скажи она про часы сейчас, и эти люди, которым она уже не понравилась, получат в руки всё сразу: золотые часы, шесть тысяч, долги, камеру над входом, которая видела, как она выходила с оттянутой полой. Чем дольше молчишь, тем труднее начать, и Оливия вдруг поняла, что не скажет ничего ни сегодня, ни в машине, ни там, куда её повезут.

— Портрет, — сказала она.

— Что?

— Портрет останется в доме? Он не закончен. Я бы...

— Он теперь вещдок, — отрезал мужчина. — Как и всё остальное в этом доме.

Он достал телефон, посмотрел в экран, убрал в карман.

— Вы поедете с нами, — сказал он. — В управление.

Оливия посмотрела вверх, на окно детской: там уже никого не было.

— Кто-нибудь сказал девочке, что она теперь одна?

Мужчина задержался на полшага. Это был первый его шаг за весь разговор, сделанный раньше, чем он успел подумать.

— Она в доме, — ответил он. — С ней будет женщина из службы.

— Это не то же самое.

— Я знаю, — сказал он, и это были его первые слова без колкости. Он вздохнул устало, как вздыхают, когда сил спорить больше нет, и пошёл к машине.

Оливия пошла за ним, потому что идти больше было некуда. У самой машины она на секунду придержала сумку обеими руками, и он это увидел, но не сказал ничего.

В машине пахло кожей и мятной жвачкой. Оливия села сзади, где лежала папка с бумагами. Пальто заняло половину сиденья, и с рукава капало на коврик.

— Вам сзади удобно? — спросил светловолосый мужчина с переднего сиденья, обернувшись на неё. Белая футболка была видна под распахнутой косухой, на шее у ворота вилась чёрная бесконечность, а на ногах были белые кроссовки с тремя полосами, чистые в этот третий дождливый день до неприличия. — Я Алекс. А это Уилл Уэнс, он со всеми такой, не обращайте внимания.

— Здравствуйте, Оливия, — сказал Уэнс с переднего сиденья.

— А мы про вас уже кое-что знаем. — Алекс с хрустом достал из кармана мятную жвачку и протянул пачку Оливии через плечо, но она покачала головой. — В судебной базе висит иск от банка, двадцать восемь тысяч. Как живёте, если не секрет?

Письма от банка, которые она так и не открыла. Оливия смотрела в окно и не ответила.

— Алекс, — осадил его Уэнс, не поворачиваясь, и в голосе у него было ровно столько терпения, сколько нужно, чтобы Оливия поняла: это не первый раз.

— Я просто поддержать разговор. — Алекс поднял обе руки перед собой.

Уэнс не ответил. Он смотрел в стекло, где мимо мелькали мокрые дома, и Оливия вдруг поняла, что за весь путь он не задал ей ни одного вопроса: он уже всё решил про неё там, у ленты, и теперь просто везёт эту решённую женщину в управление.

* * *

Среда, 30 сентября. 17:20. Управление шерифа округа Кинг.

Комната была маленькая, слишком светлая и без окна: Оливия поискала глазами, куда посмотреть, и не нашла. Пахло краской, старым кофе и тёплой бумагой. Стол, четыре стула, на стене часы, в углу под потолком камера. Часы здесь шли правильно, все три стрелки сходились, и от этого было только хуже: у Вандербильта в холле десять часов расходились во мнениях, а тут даже время сидело на месте.

Телефон у неё попросили ещё в коридоре, и она отдала: отказывать было глупо. Теперь она сидела, вцепившись пальцами в ручки сумки, лежавшей у неё на коленях. Под мокрым пальто была чёрная водолазка, и снимать пальто она не стала. На столе перед ней стоял стакан воды, к которому она не притронулась ни разу. Есть ей хотелось с самого утра, во рту пересохло, и она смотрела на этот стакан и на свои руки, потому что смотреть было больше не на что.

Дверь с грохотом отворилась. Вошёл Уэнс в своём бомбере поверх чёрной водолазки, в мокрых чёрных ботинках, и по лицу его было видно, что спал он последний раз не в эту ночь. В одной руке он держал бумажный стакан с чёрным кофе, в другой папку. За ним, вбивая что-то в ноутбук на ходу, семенил Алекс.

Оливия машинально посмотрела на свою водолазку: та же чёрная, с высоким воротом. Только на нём она сидела иначе. Они совпали, как два пятна на белой стене, и это разозлило её сильнее, чем сам допрос.

— Грёбаный дождь. У меня уже из ушей течёт, — сказал Алекс негромко, усаживаясь сбоку и разворачивая ноутбук так, чтобы экрана не видела Оливия. Он вытащил из кармана пакетик с орехами, разорвал его зубами и поставил рядом с собой.

— Ещё раз зашуршишь, выкину, — отозвался Уэнс, не оборачиваясь.

— Я с шести утра.

— Я тоже.

Алекс вздохнул и отодвинул пакетик, но недалеко.

Он снял бомбер, повесил его на спинку стула и остался в чёрной водолазке. Рукава были подвёрнуты до локтя, и на предплечье, у самой кости, проступала вена.

Уэнс сел напротив, бросил на стол папку, сверху положил пачку «Мальборо», постучал по ней двумя пальцами и не закурил. Кофе он поставил слева от себя, ближе к камере, и тоже к нему не притронулся. Потом поднял глаза и уставился на Оливию в упор, и ничего вежливого в этих глазах не было.

— Оливия Салантус. Тридцать шесть лет. Художница, долгов на тридцать с лишним. Так?

— Всё так. Если вы это уже раскопали, зачем воздух сотрясать?

— Затем, что мне интересно, когда люди начинают врать, — сказал Уэнс и наклонился вперёд, опершись локтями о стол. От него понесло сухим табаком и кедром — так густо, что она перестала слышать собственные мысли. — Портрет дочки Вандербильта. Пишете с третьего сентября, ходите дважды в неделю. Вчера ушли без пяти девять. Почему такая точность? Хронометр встроен?

Оливия даже не моргнула. Она посмотрела на него в упор и разжала пальцы на ручках сумки только для того, чтобы сжать их снова.

— В девять девочка ложится спать, — сказала Оливия. Голос шёл гладко, как по расписанию. — Я ухожу раньше, чтобы не мешать. Люди уходят, когда их время вышло. Вы, детектив, судя по всему, уходить не умеете, даже когда вас не ждут. Или манеры вам выдали вместе с удостоверением?

Алекс фыркнул в ноутбук.

— Видимо, так, — сказал Уэнс. — Работа такая. Вы стучали в кабинет?

— Дважды.

— И?

— Тишина. Решила, что он в наушниках.

— Человек умирает за дверью, сейф нараспашку, а художница с этюдником деликатно скребётся пальчиками и идёт пить кофе, — сказал Уэнс. Кофе он так и не выпил, и она вдруг поймала себя на том, что следит за этим стаканом вместо того, чтобы слушать. — Какая потрясающая чуткость к чужим личным границам. Вам самой не смешно?

Оливия подалась вперёд. Плечи у неё под мокрым пальто дёрнулись, и она услышала свой голос раньше, чем поняла, что говорит:

— Мне платят за портрет, а не за то, чтобы я вышибала чужие двери ногами. Если бы я знала, что там, я бы...

— Что? — Уэнс поднял бровь. — Вызвали бы полицию? Или проверили, не завалялось ли в карманах чего-нибудь тяжёлого и золотого?

При слове «золотого» сумка на коленях отяжелела. Она сжала пальцы так, что побелели суставы, и удержала лицо. Чтобы чем-то занять руки, взяла стакан и глотнула: вода была тёплая и отдавала картоном.

— Сбавьте обороты, гроза криминала, — заметила она, выплёвывая слова. — Хотите поговорить о моих мотивах? За портрет мне заплатили шесть тысяч двести вчера утром. Вперёд. Целиком, хотя договаривались на половину. И попросил прийти в среду и в четверг. Что бы ни случилось.

Она сказала это и сразу услышала, как это звучит со стороны: долг банку, мастерская в Джорджтауне, иск, а накануне убитый заказчик перевёл ей вперёд всю сумму. Если Уэнс сложит одно с другим, он увидит не художницу, а женщину с долгами и мотивом.

Алекс поднял глаза от ноутбука и посмотрел на неё без ухмылки, впервые за весь разговор. Уэнс не заметил: он смотрел на Оливию.

— Шесть тысяч, — сказал Уэнс. Стул под ним скрипнул. — За картинку, которую вы могли и не закончить. В этом городе вперёд не платит никто. Тем более за картинку.

— Поздравляю. Значит, первый.

— Первый, кто нанял вас за месяц до того, как ему врезали по затылку. — Он помолчал. — И сказал прийти завтра. «Что бы ни случилось».

— Это выражение.

— Так не говорят про портрет.

— Ему нужен был только портрет.

— И вы даже не обиделись.

— Я выставила счёт. Он заплатил.

Уэнс молчал. Она не знала, что он сейчас в ней читает. Лучше бы орал. Он потёр лицо рукой, и в нём не осталось ничего от следователя, просто усталый человек в чужой комнате.

— Ладонь, — сказал он вдруг и подтянул к себе папку. — Вчера вы, значит, дописывали ладонь. Сейчас на вопрос про портрет опять ладонь. Она у вас одна, что ли?

— У девочки на холсте нет одной руки, — ответила Оливия. — Пока рука не написана, портрет не закончен. Вы этого не видите, вы вообще не смотрите, но так это и работает.

— Я вижу другое, — сказал Уэнс. — Я вижу женщину, которая месяц ходила в дом и ни разу не спросила себя, что там за человек живёт. Ни что он ест, ни с кем он разговаривает, ни чего он боится. Вам заплатили, вы написали, вы ушли. Красиво живёте.

— А вы, значит, спрашиваете, — сказала Оливия. — Все у всех, всегда и всё.

— Этого требует работа.

— А я, представьте, никогда не спрашивала у Ребекки, почему она перестала говорить. Хотя мне было интересно. И знаете, что я делаю вместо вопросов? Я пишу и смотрю на неё минут двадцать молча, и за это время она сама решает, что мне можно показать.

В комнате стало тихо. Алекс перестал стучать по клавишам, и стало слышно, как гудит лампа. Уэнс смотрел на неё, и впервые в его лице не было ничего заготовленного.

— Что вы делали в холле, когда уходили? — спросил он наконец, и тон у него стал другой, суше. — Не наверху, не с кисточкой. В холле.

— В холле было холоднее, чем обычно. Тянуло со стороны террасы, и пахло водой, как на улице. Я решила, что он забыл закрыть дверь.

Уэнс замер. Лишь мгновение спустя он медленно подтянул к себе лист и записал коротко, глядя в стол.

— То есть стеклянная дверь на террасу стояла открытой, когда вы там были.

— Я этого не говорила. Из холла стеклянной двери не видно. Я сказала, что тянуло холодом.

— Пиздец, — выдохнул Алекс в ноутбук. — Ловко.

— Заткнись, — бросил Уэнс, не поворачиваясь. — Позже поговорим.

— Что было дальше, когда вы вышли из дома?

— Пошла пешком вдоль воды. Там до парка километра два.

— До какого парка?

— Лог-Бум. Две скамейки, фонарь и причал. Я села на дальнюю, лицом к озеру.

— Сколько вы там просидели?

— Минут сорок. Может, больше. Я не смотрела на время.

— И чем занимались?

— Смотрела в телефон. Потом замёрзла и вызвала такси, около десяти. — Она услышала, как это звучит, и не стала поправляться.

— В парке кто-нибудь был?

— Никого. Дождь третий день.

— Удобно, — проговорил Уэнс.

— Я так и думала, что вам понравится.

Он записал, не глядя в лист. Поднял глаза.

— То есть, кроме таксиста, у вас никого.

— И приложение. Только оно теперь у вас.

— И таксист вас видел.

— Я сидела сзади.

Оливия сидела не шевелясь. Про холод она сказала сама, а теперь слышала его со стороны, и рядом с ним, одно за другим, всплывало остальное: пальто на третьем крючке, а не на втором; скрип на площадке; полоска света под кабинетной дверью, которая на миг прервалась и снова легла ровно. По отдельности это были мелочи, о которых не говорят в полиции. Вместе они складывались в то, чего она весь день не позволяла себе додумать: пока она писала ладонь, в доме был кто-то ещё. Он замер в холле, трогал её пальто. Может быть, он стоял и за той дверью, когда она стучала.

Уэнс положил ручку и впервые за весь разговор посмотрел на её сумку.

— Свою сумку вы на пол не ставите, — сказал он. — Сидите с ней на коленях, обе руки сверху, как с ребёнком. Что там? Орудие убийства?

Часы из дома Вандербильта снова затикали у неё в ушах. Голод под ложечкой, о котором она забыла на весь разговор, вернулся и потянул живот.

— Кисти, — сказала Оливия. — Папки с набросками. Краски и тряпки.

— Откройте.

— У вас есть на это право? — спросила она, и голос у неё сел, и она это услышала.

— Пока нет, — сказал Уэнс и наконец откинулся назад. — Я мог бы оставить вас до утра и не спрашивать разрешения. Но пока не за что. Дадите отпечатки и мазок, чтобы я мог отсеять вас от всего, что там найдётся.

— Хорошо.

Она подумала о бронзовом бегуне на консоли. Вчера, уходя, она задела его рукавом и придержала рукой. Об этом она тоже не сказала: никто не спросил.

— Кто ещё бывал в доме за тот месяц, что вы туда ходили?

Она вспомнила сразу, как вспоминают запах: лестница, пальто до колен, синий крест на затылке. Лист с наброском лежал в её блокноте, между рисунками рук и списком долгов.

— Никого, — сказала Оливия. — Я работала наверху, в детской. Хозяин меня вниз не звал.

Она и сама не поняла, зачем соврала. Может, потому, что тот человек вышел из кабинета, а кабинет теперь был тем местом, куда её не пустили даже с порога.

— Никого, — повторил Уэнс, и в этом слове не было ни капли веры. — В доме, где живёт человек с пятью камерами и сейфом, за месяц не было никого.

— В доме, где живёт человек с пятью камерами и сейфом, я приходила дважды в неделю и работала наверху по четыре часа. Домработница уходила в пять, и мы за месяц не сказали друг другу ни слова.

— Домработница приходит утром.

— И уходит в пять. Я не считала её одной из тех, кто бывает в доме. Она в этом доме не бывает, она в нём работает.

Уэнс криво усмехнулся. Эта гримаса ему совсем не шла, но глаза оставались холодными.

— Рысь, — проговорил он. — Зубы скалишь, а следы за собой заметаешь.

— Видимо, плохо заметаю, раз уж вы со мной возитесь, — отрезала она. К лицу прилил жар, но голос не дрогнул.

Она намеренно съязвила, но внутри всё сжалось. Он ведь назвал её зверем: не «мисс Салантус», не «художница». И сказал это не для протокола, а себе, словно поймал на крючок и поставил пометку.

Алекс подошёл и положил её телефон на стол экраном к ней, потом сел к ноутбуку.

— Поездка есть, — доложил он. — Заказ без пяти десять, посадка в десять ноль пять, белая «Камри», сорок два доллара. Дома она в половине одиннадцатого, это проверим.

— Значит, в парке, — уточнил Уэнс.

— Значит, в парке.

Он посмотрел на часы на стене.

— Ушли без пяти девять, врач даёт время с восьми до полуночи. Считайте сами.

— Считаю, — сказала Оливия. — У меня есть таксист и час в парке.

— Дом опечатан, — сказал Уэнс. — Портрет ваш в описи. Из города не уезжайте, телефон держите включённым.

Он взял со стола свой стакан, к которому так и не притронулся, и поставил перед ней.

— Пейте. От кофе ещё никто не сознавался.

Оливия посмотрела на стакан, потом на него.

— Я не голодна.

— Я тоже. В этом городе кофе пьют не от голода.

Она взяла стакан и сделала глоток. Кофе был тёплый, сладковатый от картона, и она держала его в руках до самого выхода, потому что руки, занятые стаканом, не дрожали.

Оливия встала. Стул под ней скрипнул по линолеуму, сумка потянула её вниз, и она снова прижала её к себе обеими руками и сказала себе, что надо было оставить её на полу у самого стула.

— Кто теперь с Ребеккой? — спросила она.

— Женщина из службы, — ответил Уэнс. — И я.

— Я обещала ей прийти в четверг. У неё день рождения.

Уэнс закрыл глаза и не открывал их дольше, чем нужно. Оливия ждала, что он скажет, и не дождалась.

— В четверг вы никуда не придёте. В четверг вы приедете сюда, если я позвоню.

Оливия кивнула, потому что спорить было не с ним, а с лентой, с лампой в окне кабинета и с девочкой, которая стояла за стеклом и не махала. Из этого дела она теперь не уйдёт. Даже если её выставят за дверь, она вернётся и будет стоять, пока её не впустят.

— Всего хорошего, — сказала Оливия.

Она вышла и прикрыла за собой дверь мягко, без грохота. Мокрое пальто оставило на линолеуме две тёмные капли, как две точки в предложении, которое никто не собирался дочитывать. В комнате стало слышно, как гудит лампа.

Алекс постоял у окна, посмотрел, как она идёт по мокрому асфальту к автобусной остановке, и сел обратно. Уилл всё это время не двигался.

— Скажу сразу, что мне не понравилось, — сказал Алекс.

— Валяй.

— Она ни разу не спросила, кого мы ищем.

— Она спросила про девочку. Дважды.

— Про девочку спросила. А про то, что в доме мог быть кто-то ещё, ни хрена.

— Да потому, что она и так знает, — отрезал Уилл. — Она вошла с сумкой и держала её, словно там улика.

— Мысль хорошая, — сказал Алекс. — Ну и что там, как думаешь?

— Не знаю. — Уилл повернул голову к двери, за которой она только что закрылась. — Но кисти так не носят.

— Кисти. Эксперт по искусству нашёлся, — добавил Алекс и ухмыльнулся. — Завтра ордер на её квартиру?

— Завтра. — Он отодвинул от себя стакан с остывшим кофе, к которому так и не притронулся. — Последняя, кто видел его живым, шесть штук вперёд, две нестыковки за один разговор.

— Какие?

— Про «никого» и про сумку.

— А про холод в холле не соврала, — заметил Алекс. — И пришла сама, к половине пятого, как договаривались.

— Или не знала.

— Или знала. — Алекс пожал плечами. — Но тот, кто был в доме до неё, знал, где у дома глаза, где сейф и как выключить ящик.

— Вот это и есть настоящая работа, — заключил Уилл. — А художница удобна: сидит наверху и ничего не видит.

Он застегнул бомбер и забрал папку со стола. За дверью шумел принтер, в дальнем конце коридора кто-то негромко засмеялся, и мимо прошла уборщица с ведром, от которого пахло хлоркой.

— Ты её рысью назвал, — сказал ему в спину Алекс.

— И что?

— Ничего. Ты никого так не называешь.

— Домой поехали, Гранчестер, — бросил Уилл.

Глава 4. Что бы ни случилось

Ночь со среды на четверг. 2:10.

Оливия проснулась от тиканья. Оно шло со всех сторон сразу, ровное и чужое, и она успела полежать с открытыми глазами, прежде чем поняла: это капли бьют по жестяному козырьку над окном. Тиканье осталось в голове и никуда не ушло. Она встала.

На кухне горела лампа под льняным абажуром, и в её свете было видно всё, что Оливия и так знала: раковину с каплей на дне, два письма из банка, оба нераспечатанные, банку джема. Пахло олифой и льняным маслом. Она налила воды, выпила стоя и поставила стакан в сушилку горлышком вниз. В доме на озере часы не умолкали ни на секунду, и она поймала себя на том, что скучает по этому шуму.

Часы лежали во втором ящике комода, под свитерами, завёрнутые в шерстяной носок. Вечером, вернувшись из управления, она достала их из сумки, где они пролежали весь допрос между папками с набросками, и убрала обратно: другого места она не придумала.

За ними придут. «Пока нет», — ответил детектив, когда она спросила, есть ли у него право открыть её сумку. Пока. Это слово она слышала весь вечер, и ни разу оно не звучало как «никогда». Он сказал: не уезжайте, держите телефон включённым. Но в доме, где убили человека, всегда есть тот, кто был там последним, и она была последней. Придут с ордером и первым делом откроют комод, потому что комод откроется сам.

Отдать нельзя: почти сутки держала у себя и промолчала. Оставить нельзя: комод откроют первым. Взять с собой тоже нельзя: сумку сегодня уже разглядывали с двух сторон.

Зато теперь она наконец спросила себя о том, о чём весь день запрещала себе думать. Не «зачем», а «кто». Не Артур: пока она стучала, он, может быть, уже лежал за той дверью, и эту мысль она отложила тоже. Не Ребекка. Чьи-то руки сняли её пальто со второго крючка, положили в подкладку чужое золото и повесили на третий, торопливо и неточно. Часы ей не подарили и не забыли. Их положили так, как кладут приманку, и ждали, что за приманкой придут. Придут сюда.

Она села на кровать и посмотрела на холсты, стоявшие вдоль стены лицом к стене. Их было шесть. Пять она написала в тот год, когда мастерская ещё кормила, а шестой бросила на грунте, потому что он не пошёл.

Решение пришло не из её квартиры. Оно пришло из чужой. Подрамник на портрете Ребекки сидел иначе, туже, чем в прошлый раз, и по нижнему краю холст ложился неровно, словно под него что-то подложили. Тогда она решила, что антиквар полез не в своё дело. А потом он сказал не переворачивать, сказал глухим голосом, и пальцы у него дрожали, и с тех пор эти слова лежали у неё в голове отдельно от всего разговора. Что-то под холстом. Нет, у неё там будет не «что-то». У неё там будут часы.

Она понимала, что делает ровно то, в чём её подозревают. Мысль была неприятная, и Оливия отложила её на потом.

Она выбрала шестой, тот, что остался на грунте: с ним она расставалась легче всего, а подрамник у него был новый, с ровными углами, из тех самых, что она ставила и на портрет. Холст она вытянула из ряда и положила на пол лицом вниз, на сложенное полотенце, так что подрамник оказался сверху, тыльной стороной к ней. Плоскогубцами подцепила скобу по нижнему краю, за ней вторую. Скобы шли неохотно, с металлическим щелчком, и в ночной квартире эти щелчки были громче, чем ей хотелось. Сосед за стеной спал, у него молчал телевизор.

Нижний край холста отогнулся, как отгибается лист, и открылось тёмное, чистое, ровно сколоченное нутро подрамника, с подписью мастера на планке. Оливия вынула из носка часы, обернула их ещё раз лоскутом холстины и уложила на изнанку холста, в середину, к перекрестью, где планка прижмёт их к ткани. Придавила двумя пальцами и услышала из свёртка

короткий щелчок: крышка, чуть приподнявшаяся в носке, встала на место. Такой же щелчок был утром, когда она её защёлкнула. Потом натянула холст обратно и вогнала скобы обойным степлером, тем самым, которым натягивала все свои холсты.

Всё это заняло минут двадцать, и почти всё время она думала не о часах, а о том, что подрамник наощупь не обманешь. Она переложила свёрток чуть влево, подсунула под него полоску картона, чтобы не стучал, и провела рукой по холсту. Упруго, ровно, как натянутая кожа. Если просто стоять и слушать, не было слышно ничего. Если знать, слышалось всё, но уже не ухом, а головой.

Вариант был плохой, просто лучший из плохих. «Не переворачивать», — сказал антиквар, и она помнила, почему так сказал он. Тот, кто станет переворачивать холсты, найдёт, но обыск обычно начинают с ящиков.

Холст она поставила к стене первым, остальные пять подвинула к нему, чтобы ряд не просел. Квартира стала похожа на квартиру, в которой нечего искать. Оливия вымыла руки, но они всё равно пахли растворителем. На сушилке стоял стакан, в углу склянка, на столе банка джема.

Часы она больше не слышала. Только знала, что они там.

За окном стелился тяжёлый туман. В четверг Ребекке Вандербильт исполнялось двенадцать, и в этом городе ещё никто не решил, что ей об этом сказать.

* * *

Четверг, 1 октября. 9:20. Управление шерифа округа Кинг.

В кабинете стоял запах остывшего кофе, а куртки на спинках стульев ещё не просохли. Уилл сидел, не снимая серого бомбера, молния расстёгнута, и дописывал в блокнот вчерашние заметки: удар один, сзади, плоское и тяжёлое, время — от восьми до полуночи, ни отпечатка, ни соринки, лампа, которую никто не выключил. Список выходил короткий, и от этого раздражал.

Алекс вошёл с двумя стаканами и планшетом под мышкой, поставил один перед Уиллом, второй у себя, тяжело вздохнул и сел на край стола, качнув ногой.

— Пей, — велел он. — Ты вчера на кофе смотрел так, будто он тебе денег должен.

— Что у тебя?

— Деньги. — Алекс отодвинул свой стакан и развернул планшет. — Адвокат Вандербильта ночью прислал выписки, судья подписал запрос ещё вчера. Счётов три: личный, дом, дело. И с личного каждый месяц уходит одна и та же сумма. Чётко, как по часам, чтоб её.

— Кому?

— Фирме. «Барнс и Дойл», частный сыск, Сиэтл. — Алекс постучал ногтем по экрану. — Месяц в месяц, без пропусков. Первый платёж через год после похорон жены, последний за неделю до смерти.

Уилл взял планшет, пролистал выписку и вернул.

— Он платил сыщикам.

— В назначении «консультационные услуги». Для антиквара звучит солидно. — Алекс хмыкнул. — Сыщикам, блин, платил, а нам ни слова.

— Подними мне дело его жены, — велел Уилл. — Три года назад, загородный дом.

— Уже поднял. — Алекс не оторвался от планшета. — Утонула в бассейне, снотворное и вино. Самоубийство, дело закрыли за две недели.

— За две недели, — повторил Уилл. — Человеку, который не верит в самоубийство жены, этого хватит, чтобы больше к нам не ходить.

— Позвони им, — сказал он следом.

— Сам позвони, я тебе что, секретарша? — Алекс всё-таки набрал номер и включил громкую связь. Гудки пошли один за другим, длинные, без ответа. Через минуту он сбросил и набрал снова. То же самое.

— Ни оператора, ни автоответчика. Или свалили, или сидят и ржут. — Он уже стучал по клавишам. — Адрес в выписках есть. Комната над кровельной мастерской в Ботелле. Съездим, посмотрим, кто там сидит.

— Больше им не звони, — предупредил Уилл. — Мы позвонили дважды. Если линию слушают, они уже знают, что мы вышли на них.

Он подошёл к окну и посмотрел на мокрую стоянку. По ней шли двое патрульных, оба в поднятых воротниках.

— Это ещё не всё, — сказал Алекс у него за спиной. — Телефона в доме не нашли, унесли. Но оператор расщедрился ночью и дал детализацию за две недели, а её с собой не унесёшь. Входящие: домработница, банк, врач. Исходящие: адвокат, сыщики и галерея «Эверхарт». Трижды, по двадцать минут. И ещё один номер, который я сперва нигде не нашёл.

— Значит, было что уносить, — заметил Уилл. — А тот номер?

— С утра пробил. Он не звонил, звонили ему. Двадцать четвёртого, вечером, восемь минут. — Алекс перевернул планшет экраном к Уиллу. — Я позвонил в газету, и там сказали, что это номер их бывшего корреспондента. Хендерсон. Журналист, сука. Вот тут, Уилл, и начинается самое интересное.

Уилл повернулся.

— Тот, из низовьев Колумбии?

— Тот. Писал про закрытые аукционы, про то, кто, кому и под видом чего продаёт.

— Он продался? — спросил Уилл.

— Не знаю. — Алекс покачал головой. — Редакция отказалась от него два года назад, с тех пор он писал один. Такой либо продаётся, либо не доживает.

— Аукционы.

— Твои любимые. В рамах. — Алекс сложил руки на груди. — Его выловили из реки на прошлой неделе. Сначала не опознали, теперь всё сошлось. Им занимается округ Кларк: убили на причале под Ванкувером, тело снесло в Орегон. Орегон принял, Кларк ведёт. Нам прислали, потому что он звонил Вандербильту.

— Работал в Сиэтле, а убили под Ванкувером, — сказал Уилл. — Чтобы там оказаться, надо было сильно захотеть.

— Или чтобы за тебя захотели.

— И за пять дней до смерти Вандербильт звонил ему сам.

— Восемь минут, — заметил Алекс. — Столько не поздравляют с праздником.

Уилл вернулся к столу и сел. В блокноте у него было пустое место под словом «журналист», и он вписал туда фамилию.

— Что он писал про Вандербильта?

— В бумагах ни строки, и квартира вылизана так же, как кабинет: ни ноутбука, ни блокнотов, ни электронных носителей. Зато куски черновика он рассылал по редакциям и знакомым журналистам, оттуда они и дошли до нас. Про Вандербильта там тоже ничего. Кроме одного слова в черновике недописанной статьи, в самом низу: Эверхарт.

Уилл поднял глаза.

— Что это?

— Та самая галерея, куда звонил Вандербильт. Два звонка с одного конца и слово в черновике. — Алекс пожал плечами. — Только соваться туда без улик смешно: закрытые аукционы, юристы толще нашего кабинета. И камеры. — Он снова ткнул в планшет. — Сервис, которым пользовался Вандербильт, ответил: все пять отключены одной командой с телефона владельца, в двадцать один ноль-семь. Не сбой.

— Видео у него не было, — уточнил Уилл. — Камеры писали на диск в кладовке, а диск вынесли. Сервис хранил только журнал команд.

— Телефон тоже, — добавил Уилл.

— Унесли. И разблокировали: либо кто-то знал код, либо палец у хозяина был ещё тёплый. — Алекс сказал это буднично, и Уилл не стал делать вид, что не расслышал.

— В семь минут десятого. А художница вышла без пяти девять.

— Значит, она ушла, а через двенадцать минут дом ослеп. Либо в доме кто-то остался, либо она вышла позже, чем говорит.

— Либо так, либо так. Записей нет, и проверить её слово нечем. Очень удобно.

Уилл посмотрел в окно: три следа, и ни один не тянется дальше вчерашнего дня.

— Значит, у него была своя война, — заключил он. — И вёл он её тихо.

На столе у Уилла загудел телефон. Звонил патрульный, которого Алекс с рассвета отправил опрашивать жильцов дома на Авроре. Уилл слушал молча и один раз переспросил: «Во сколько?» Положил трубку и взял ручку.

— Сосед из-за стены. Около двух ночи слышал сухие щелчки, штук шесть подряд. Сказал: «Как будто степлером».

— Степлером. — Алекс хмыкнул. — Художница, в два часа ночи. Какого чёрта ей не спится?

— Натягивает холст. — Уилл записал слово в блокнот, под Эверхарт, и обвёл. — Позвони ей. Пусть приедет сама, до полудня, уточнить показания.

— А если не приедет?

— Приедет. Она спрашивала про девочку.

* * *

Четверг, 1 октября. 10:15. Ботелл.

Кровельная мастерская занимала первый этаж, и над её воротами на жестяной вывеске кто-то давно отбил половину букв. На второй этаж вела наружная железная лестница, скользкая от сырости. Уилл поднялся первым и остановился на площадке: дверь была заперта, без таблички и без номера, и только светлая полоса на краске показывала, где табличка висела раньше.

— Съехали, — сказал снизу человек в брезентовой куртке, с рулеткой в руке. — На прошлой неделе. Ключи сдали, долгов не оставили, мы и не спрашиваем.

— Кому сдали?

— Хозяину здания. Он у нас в конторе у ворот сидит. — Он пожал плечами. — А кто съезжал, не знаю. Приезжал один, высокий, в пальто. Бумажки подписал, сейф вынес.

— Какой сейф?

— Небольшой, с замком. Вынес сам, даже не крякнул. — Он посмотрел на дверь, потом на Алекса. — Вы бы хозяина искали, а не нас.

— Высокий, в пальто, с сейфом, — заметил Алекс. — Прямо ориентировка. Ещё бы шляпу.

Он поднялся на несколько ступеней, чтобы не кричать через весь пролёт, и уже стучал по планшету.

— Лицензия отозвана по заявлению владельца, — доложил он вполголоса, для Уилла. — Неделю назад.

— Или сам пришёл, или прислал того, кто умеет подписывать.

— Пальто. В Сиэтле. Отличная примета, Уилл, просто отличная.

Уилл не ответил. Он надавил на дверь рукой, и дверь не шевельнулась. Из-под неё тянуло пылью и старым ковром: в комнате ничего не жгли и ничего не разливали, её просто оставили.

— Договор аренды достанем, там подпись и имя, — отметил Алекс. — Но имя будет такое, что хоть вешайся. Таких Джонов Миллеров в Сиэтле сорок.

— Имя есть, человека за ним нет, — заключил Уилл и пошёл вниз по железным ступеням. — Где ваша контора? — спросил он у человека с рулеткой.

* * *

Четверг, 1 октября. 11:10. Кенмор.

Терраса была под навесом, и дождь доставал только до края и до ступеней. Доски под ногами набухли. Техник в белом комбинезоне сидел на корточках у стеклянной двери и водил кисточкой вокруг тёмного следа на досках: носок смазан, пятка вмята глубоко, а по внешнему краю каблука шёл рубец от сбитой набойки, чёткий, как оттиск.

— Кожаная подошва, мужская, крупная, одиннадцатый, — сказал он, не поднимая головы. — Каблук стоптан с внешней стороны, так ходят давно и привычно. Искать по нему нечего: таких каблуков в городе половина. Зато размер и вес он нам назвал.

— Вандербильт? — спросил Уилл.

— Нет. Домработница показала его обувь, она мельче и другая. — Техник качнул головой. — Это не его.

Уилл присел рядом. След шёл не к двери, а от двери: человек вышел из дома, дошёл до края террасы, и там след кончался, потому что дальше были ступени, открытое небо и дождь.

— Женщина, которая здесь писала портрет, носит седьмой, — заметил он. — Я видел её ботинки.

— Значит, это не она, — сказал из дверей Алекс. Он стоял со стаканом и без всякого уважения разглядывал кисточку техника. — Слушайте, а этой штукой можно и убийцу погладить, чтобы не обиделся?

Техник даже не поднял головы.

— Значит, их было как минимум трое, — сказал Уилл. — Он, она и тот, кто вышел отсюда.

— Причал внизу, — сказал техник. — Ребята уже спустились.

Уилл дал знак. Техник подрезал ленту и накрыл след плёнкой. Уилл постоял ещё, глядя на воду. Гость знал камеры, а озеро камер не требует.

* * *

Четверг, 1 октября. 11:40. Управление шерифа округа Кинг.

В вестибюле пахло сухим тёплым воздухом, бумагой и кофе из автомата. Оливия вошла, отряхнула с плеч дождевую пыль, сложила зонт и остановилась у стойки, потому что дальше ходу не было: за стойкой сидел дежурный с журналом, а за его спиной, за стеклянной перегородкой, начинался коридор.

Пальто она сняла ещё в дверях и перекинула через руку. Под ним была светло-жёлтая рубашка из плотного хлопка, слишком яркая для этого серого, пропахшего инструкциями холла, и тёмные брюки. Воротник расстёгнут на две пуговицы, на плече красный след от ремня сумки. Если Уэнс пройдёт по коридору, он увидит её сразу, даже сквозь стекло.

— Меня вызвали, — сказала она. — Оливия Салантус. К детективу Уэнсу.

— Удостоверение? — Дежурный даже не поднял глаз.

Она достала права, он посмотрел, вписал её в журнал и подвинул журнал ей на подпись. От руки, тонкой ручкой, как в школе. За её спиной в дверь вошли ещё двое, придержали створку и встали поодаль, и один из них сказал другому что-то про пробку на Ботелл-Уэй.

— Садитесь, — сказал дежурный и указал на скамью вдоль стены. — Вызовут.

Оливия села, положила пальто рядом и взяла сумку на колени обеими руками. Скамья была холодная, и в тёплом воздухе мокрые рукава сразу стали неприятными. Она посмотрела на стену: расписание приёма, расписание дежурств, плакат про ремни безопасности, запылённое окно, за которым шли люди с папками. Дольше двадцати минут в таких местах она не сидела никогда. Часы над стойкой обещали рекорд.

Про часы она решила одно: не говорить. Ни про комод, ни про носок, ни про холст, ни про то, что лежит теперь под холстом. Об этом она думала всю дорогу в автобусе, и мысль держалась крепко, пока шёл автобус, и теряла силу с каждым шагом по этому вестибюлю.

* * *

Четверг, 1 октября. 11:50. Управление шерифа округа Кинг.

Телефон Алекса завибрировал. Он прочёл и поморщился.

— Грёбаный судья отказал по квартире Салантус. Слово про «никого» для него, видите ли, не основание. «Принесите вещь или свидетеля», говорит. Старый козёл.

— Улику подавай с места, — сказал Уилл. — А у нас женщина и сумка, которую она не открыла.

— Так и думал, что нас пошлют в задницу. Ладно, принесём.

— Ещё врач прислал предварительное, — добавил Алекс. — Удар сверху вниз, под углом. Нападавший выше Вандербильта минимум на голову.

— Вандербильт был ростом с Салантус.

— Значит, шесть футов три дюйма, плюс-минус.

— Это не снимает с неё сумку, — сказал Уилл. — Это снимает с неё удар.

— Марта Грэйс на третьей линии, — заметил Алекс, не отрываясь от экрана. — Говорит, вспомнила.

Уилл взял трубку и придвинул к себе блокнот. Марта говорила коротко, как вчера, и всё время возвращалась к одному слову: мастерская.

— Хозяйкина мастерская, — сказала она. — Вчера я вам про неё не сказала, потому что вы не спросили. Она во флигеле, за гаражом.

— Вандербильт там бывал?

— При мне ни разу за три года. — Марта помолчала. — Днём он туда не ходил. Ключ у него на связке, вместе с остальными, я это точно видела. А что он делал ночью, не знаю: ночью я дома.

— Что внутри?

— Не знаю, я в неё не хожу. Мимо идёшь, видно мольберт у окна. Он говорил: пусть стоит, как стоит. Никого туда не пускал, даже её подруг, когда те приезжали.

— Спасибо, Марта, — сказал Уилл. — Позвоню вам ещё.

Он положил трубку и записал под Эверхарт: флигель, мастерская, ключ на связке. Внизу под этим он приписал: «днём три года никто не входил». Связка лежала в описи, в хранилище: выдадут завтра с утра, под подпись. Мастерская три года стояла закрытой — по крайней мере, так думали.

— Алекс, флигель завтра первым, — велел Уилл. — Дом мы прошли весь, а туда три года никто не входил.

— Из хранилища звонили, — сказал Алекс и положил телефон экраном вниз. — Портрет приняли по описи. Стоит в очереди на разбор.

— Когда?

— В понедельник. У них там всё по порядку поступления. — Алекс выдержал паузу. — Ты хочешь, чтобы кто-то перевернул холст, я знаю. Никто не переворачивал. Он и на описи записан как портрет девочки, кисти, краски.

Уилл откинулся на спинку и посидел, глядя в блокнот.

— Пусть стоит, — решил он. — До понедельника у нас есть дела похуже.

* * *

Четверг, 1 октября. 11:55. Управление шерифа округа Кинг.

Оливия успела просидеть на скамье минут десять, когда из коридора вышла женщина лет сорока, в тёмном кардигане, с блокнотом, похожим на её собственный. Она остановилась у стойки, что-то тихо спросила у дежурного, и дежурный показал подбородком на скамью.

Женщина подошла.

— Вы Оливия? — спросила она. — Та, что писала портрет.

— Я. — Оливия подняла глаза.

— Меня зовут Рут, я работаю с детьми, которых опрашивают. — Она села рядом, на расстоянии локтя, и поставила блокнот на колени. — Ребекка наверху. Она целый час пишет на листке одно и то же: приведите художницу.

Оливия открыла рот и закрыла. Наверху, в чужом здании, за закрытой дверью, девочка, которой сегодня исполнялось двенадцать, ждала человека, который обещал ей прийти в четверг.

— Она может поговорить? — спросила Рут. — Без записи, без протокола. Десять минут, вы просто посидите. Иногда это единственный способ.

Из коридора вышел Уэнс, в бомбере поверх серой рубашки, с папкой. Он остановился и посмотрел на Оливию: на жёлтую рубашку в этом сером холле, на сумку, которую она держала обеими руками. Оливия видела, как он это считает.

— В доме не осталось ни одной записи, — сказал он вдруг. — Камеры погасли в семь минут десятого, диск из ящика вынесли. Выходили вы в девять или в полночь, этого я не знаю.

Оливия посмотрела на него и не сказала ничего. За полтора суток это «не знаю» было первым, что прозвучало как подарок, и она поняла, что это слышно.

— Десять минут, — сказал он. — Я буду за перегородкой.

Комната для опроса детей была совсем другой — без линолеума и мастики, с мягким ковром, низкими креслами и коробкой с цветными кубиками на полу. На столе, у самого угла, стояла картонная коробка из кондитерской на Ботелл-Уэй, перевязанная бечевкой. Пирог. Марта Грэйс всё-таки привезла его, хотя дома на озере первого октября больше не существовало.

Ребекка сидела в кресле, утонув в нём по самые плечи. На ней был голубой кардиган, а бледные пальцы прижимали к груди застиранный батистовый платок Оливии. Когда дверь открылась, девочка не шелохнулась, но её сухие, огромные глаза мгновенно нашли светло-жёлтую рубашку на пороге.

— Здравствуй, — тихо сказала Оливия.

Она прошла через комнату, чувствуя себя неуклюжей, слишком яркой и влажной от тумана. Сумка на длинном ремне привычно оттягивала плечо. Присаживаясь на корточки перед креслом, Оливия спиной чувствовала холодную плоскость одностороннего зеркала. Там, за тёмным стеклом, стоял Уэнс, и десять минут ей предстояло провести у него на виду.

Рут отошла к окну и углубилась в свой блокнот.

Ребекка медленно опустила платок. На её коленях лежал раскрытый блокнот, и Оливия внутренне сжалась, ожидая увидеть исписанный детской рукой лист. Но страница была чистой. На миг, пока девочка перелистывала, Оливия увидела предыдущую: высокий человек в длинном пальто, со спины, без лица. Прямая линия плеч, поднятый воротник. Так рисуют со спины, когда лица не видели.

Девочка взяла карандаш, посмотрела Оливии прямо в глаза — долго, взросло, без единой слёзы — и быстро, не скрывая руку, написала одну строчку.

«Не отдавай портрет»

У Оливии перехватило дыхание. Про подрамник, который сидел туже, чем в прошлый раз, не знал никто, кроме неё и, как выходило, этой девочки. Что там, под холстом, Оливия не знала. Но отдавать это было нельзя.

Это был не вопрос. Ребекка смотрела на неё и ждала.

Оливия подняла руку. Пальцы коснулись края страницы. Лист хотелось вырвать и скомкать, чтобы написанного не прочёл никто, кроме неё. Но за перегородкой стоял Уэнс, и любое резкое движение было бы у него на виду.

Оливия протянула руку и закрыла блокнот. Рука осталась лежать на картонной обложке.

— С днём рождения, Бекка, — сказала она вслух. Голос не дрогнул, а в голове у неё сухо щёлкнул степлер.

Девочка едва заметно кивнула и снова уткнулась лицом в застиранный платок. Десять минут кончились.

В коридоре ждал Уэнс.

— Ей сегодня двенадцать, — сказал он.

— Я помню.

Он молча посторонился, пропуская её к лестнице.

В вестибюле пахло сыростью от зонтов и дешёвым табаком, который заносило с улицы каждый раз, когда открывалась входная дверь. Оливия шла к выходу, и сумка на плече казалась тяжелее, чем была: в ней лежали кисти, краски и папки с набросками.

У стойки дежурного было многолюдно. Два патрульных оформляли какие-то бланки, но Оливия заметила не их, а его.

Там стоял мужчина, высокий, прямой, в длинном тёмном кашемировом пальто, которое на фоне казённой краски стен выглядело дороже всего здания. Рядом невысокий плотный человек в строгом костюме, адвокат, негромко выговаривал дежурному условия визита.

— Мистер Кингсли пришёл добровольно, — долетел до Оливии сухой голос адвоката. — Как представитель галереи «Эверхарт», которая заказывала работы жене мистера Вандербильта. Мы готовы предоставить полное алиби на вечер вторника и ответить на вопросы следствия.

Кингсли. Фамилия ей ничего не говорила, в отличие от его затылка.

В этот момент дежурный протянул мужчине журнал для подписи — тот самый, в котором Оливия расписалась минут двадцать назад. Мужчина наклонился, чтобы взять ручку. Воротник его дорогого пальто на долю секунды сдвинулся в сторону, обнажая полоску бледной кожи на затылке.

Там, между волосами и тканью, темнела маленькая синяя татуировка. Крест.

Оливия остановилась посреди вестибюля. Это был он. Человек из кабинета третьего сентября.

Словно почувствовав, что на него смотрят, Кингсли медленно выпрямился. Он не оборачивался резко — он повернулся всем телом, не спеша.

Его глаза нашли Оливию сразу. В них не было ни страха, ни удивления. Он смотрел на неё и не отводил глаз.

Оливия молчала. Вчера она сама сказала про «никого», и теперь это закрывало ей рот: укажи она на него пальцем, Уэнс первым делом спросит, почему она соврала.

Кингсли провёл пальцем по странице вверх, на несколько строк, и остановился там, где стояла её подпись. Повернулся обратно к дежурному и вывел свою. Оливии показалось, что он знал, кто стоит перед ним.

Оливия толкнула выходную дверь и вышла на крыльцо, в сырость.

* * *

В вестибюле у окна стоял Уилл и не курил, хотя пачка «Мальборо» была зажата в руке. Он бросил полгода назад, но пачку всё ещё носил и сжимал, когда не мог занять руки. Сквозь матовое стекло ему было видно, как пелена тумана дробит силуэт уходящей по асфальту Оливии: её жёлтая рубашка виднелась ярким пятном в плотной серой мгле пригородного полудня.

Слово «Эверхарт» он услышал от адвоката и только потом посмотрел на Оливию, и по её лицу понял, что она это слово уже слышала. Он опустил глаза на блокнот, где утром обвёл его, и поднял их на мужчину в кашемировом пальто.

Уилл видел, как она замерла посреди вестибюля и как смотрела так, как не смотрят на незнакомца. Такой паузы не бывает у того, кто вчера не видел в этом доме никого. И видел, как мужчина, прежде чем расписаться, прошёл пальцем по журналу вверх, на строчки выше собственной.

У стойки Кингсли заканчивал с журналом. Уилл подошёл, не торопясь, и назвал себя. Адвокат повернулся первым, словно ждал.

— Детектив Уэнс. У вас есть вопросы к моему клиенту?

— Один. — Уилл смотрел не на адвоката. — Мистер Кингсли, вы разрешите эксперту снять слепок с подошвы ваших ботинок?

Кингсли опустил глаза на свои ноги. Чёрные, начищенные, с целым каблуком и ровным внешним краем.

— На каком основании? — спросил адвокат.

— На добровольном.

— Тогда нет. Если появится ордер, мы его исполним.

— Появится, — сказал Уилл.

— Вы можете прислать запрос в галерею, — ответил Кингсли. — Я отвечу на всё, что касается картин.

Он смотрел на Уилла спокойно, без интереса, как смотрят на вещь, которую не собираются покупать. Набойку меняют в любой мастерской за двадцать минут и пятнадцать долларов, и это знает каждый, кто год проносил кожу. Уилл записал в блокнот две вещи: обувь новая и пришёл он всё равно сам.

Он повернулся к Алексу, который настраивал что-то в планшете.

— Салантус узнала его, — сказал Уилл. — И он её.

Алекс оторвался от экрана и грязно выругался.

— И пришёл он сам, — заметил Уилл. — В тот день, когда здесь она, с адвокатом и готовым алиби.

— Совпадение.

— Так не совпадает.

— Взгляд в вестибюле — не показание, — сказал Алекс. — Она вчера сказала нам «никого». А у него алиби на вторник и адвокат в придачу. Ордер на Аврору нам теперь не дадут: «узнала» — не основание. — Он убрал планшет под мышку.

— Знаю. Поставь машину у её дома. Не прячь. Пусть видит. — Уилл помолчал. — И пусть Рут сфотографирует последнюю страницу блокнота, если девочка позволит. Салантус закрыла его, чтобы я не прочёл.

Он открыл блокнот и перечеркнул строчку «Никого не видела» напротив фамилии Салантус. Один раз она ему соврала. Второго раза не будет.

До понедельника оставалось четыре дня. Часы в подрамнике шестого холста на Авроре продолжали идти.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.